

Александр
Терехов

Немцы

Премия
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БЕСТСЕЛЕР



Роман

Новая русская классика

Александр Терехов

Немцы

«АСТ»

2012

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Терехов А. М.

Немцы / А. М. Терехов — «АСТ», 2012 — (Новая русская классика)

ISBN 978-5-17-090499-0

Александр Терехов – автор романов «Мемуары срочной службы», «Крысобои», «Бабаев», вызвавшего бурную полемику бестселлера «Каменный мост» (премия «Большая книга», шорт-лист «Русский Букер»), переведенного на английский и итальянский языки. Роман «Немцы» был удостоен премии «Национальный бестселлер» и стал финалистом премий «Большая книга» и «Русский Букер». Если герой «Каменного моста» погружен в недавнее – сталинское – прошлое, заморожен тайнами «красной аристократии», то главный персонаж нового романа «Немцы» рассказывает историю, что происходит в наши дни. Эбергард, руководитель пресс-центра в одной из префектур города, умный и ироничный скептик, вполне усвоил законы чиновничьей элиты. Младший чин всемогущей Системы, он понимает, что такое жить «по понятиям». Однако позиция конформиста оборачивается внезапным крушением карьеры. Личная жизнь его тоже складывается непросто: всё подчинено борьбе за дочь от первого брака. Острая сатира нравов доведена до предела, «мысль семейная» выражена с поразительной, обескураживающей откровенностью...

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-090499-0

© Терехов А. М., 2012

© АСТ, 2012

Александр Терехов

Немцы

© Терехов А. М.

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

Монстра привезли в октябре; или в понедельник к трем (во вторник – правительство), или в среду, но точно: в день, когда Эбергард плавал, нырял и мерз с новой женой под пластмассовыми пальмовыми ветками аквапарка «Титаник» и бегал в турецкую баню согреться; это Улрике уговорила: посмотрим, что это за «Титаник», пока не забеременела, в общей воде – сплошная инфекция!

Забеременею... Когда... Как забеременею!.. После того как... Когда мы будем ждать маленького... Вот забеременею... Скоро... Улрике обезумела. Пусть и в будущем, впереди, но уже появился долгожданный и зажил ее «маленький». Радостно и одиноко бредила она, ослепленно, словно из-за какой-то оштукатуренной стены. По аквапарку ступала, завернувшись в синее полотенце с двумя белыми волнами зубчиками, и затуманенно улыбалась:

– Как хорошо здесь будет с маленьким... Но не сразу. Когда ему годика полтора будет. Как думаешь, сколько этому?

А Эбергард – босиком по лестницам, взлетал, оберегая треснувшую от недостатка витамина А пятку, и прыгал в синие, белые и зеленые трубы-кишки, и его мотало-било – туда! сюда! – в мигающей душной тьме – вперед! и – в пропасть, вслед за визгами ужаса – кто ж так надрыдается?! – зажмурился, брызги остро секли глаза, и – бухнулся, как бегемот, в середину бассейна, вынырнул и по-бурлацки побрел к ступенькам, утирая воду и волосы с глаз, протиснувшись меж поджарых, просмоленных солярием теток; они повизгивали, подпрыгивали, выдыхали запахи выпитого и плескались, отмахиваясь от свистков со спасательных вышек, одна пожаловалась:

– А мы никак не вылезем... Тону! – и дважды погладила ему плавки между ног.

Он поднял глаза: а видно небо сквозь стеклянную крышу? – а счастливый сегодня день!

Меж железных ящиков раздевалки Эбергард прошептал:

– Всего-то полтора часа.

Не было его с телефоном – полтора часа! И что-то случилось? Что могло? Двенадцать неприятых и сообщение; сразу толкнулось: дочь, но – нет. Нет. Звонили из приемной Баба – три, депутат-режиссер Иванов-1 и депутат Иванов-2, все друзья – Фриц, Хериберт и Хассо – по одному, два звонка с неопределившегося, один с незнакомого и алкоголик из «Вечерней столицы», но не Эрн. Дочь не звонила.

Оказалось, это день закрепления новых знаний: Эрне одиннадцать, с августа она перестала звонить. На звонки отвечает, но не позвонит. И некого за это ударить. А хочется! Как ребенок колотит скользкий пол и мебельный угол, выбежавший навстречу. Всё эта... БЖ. Бывшая жена. Вот теперь всё злило – неторопливые, мешающие соседние раздевания, очередь на просушку волос, взвешивания, собственные ошибающиеся конечности – ни одной пуговицы с первого раза! – словно болеет мама, словно позвонил «у меня день рождения» начальник контрольно-ревизионного управления и придется заносить деньги «на будущее», за «отношения», просто подкормить глотку.

Три года из депутатских четырех поглаживал Иванов-2 Эбергарда крошащимся, медленно-суетливым голоском, и чем ближе выборы в городскую думу, тем чаще, и всегда отзывался, перезванивал и дозванивался – первым:

– Добрейшего вам, добрейшего вам дня, мудрейший и сильно уважаемый господин Эбергард... Не оторвал я?.. Вы, медиамагнаты, вы формируете там, транслируете? Позиционируете? Всё решаете деликатные вопросы «под ключ»? А мы... Что мы?! – рядовые депутаты городской думы от партии «Единая Россия»... Да мы только отвлека-а-ем своими магазинами шаговой доступности, самовольно установленными «ракушками»... Растопкой снега! Насущными! нуждами! своих избирателей... Там у нас, говорят, новый префект? В три представляют? Что странно – никому не известная фамилия!

Обалдеть. Мэр уволил Бабца. Говорили, да, что после выборов в Госдуму мэр уволит шестерых префектов и половину глав управ – но так говорили после каждого выборов. Говорили: мэр недоволен именно Восточно-Южным – третье место сзади по процентам за «Единую Россию» из всех округов. В районах Панки и Овражки, в серо-кирпичных башнях, заповедниках ЦК КПСС (восемнадцатиметровые кухни, по две лоджии – а когда-то казалось: роскошь!), вдоль президентской летящей трассы «на работу! – с работы!», за КПрФ проголосовали так, что протоколы переписывали дважды! – вот и говорили: Бабец «не обеспечил», а еще больше говорили: Бабцом недовольна Лида – супруга мэра, превращенная волшебством из позднечерней страхолюдной заносчицы печенья пожилым вдовцам без надежды замуж в миллиардера; и в каждой префектуре в общем отделе «подснежником» или среди беззаконных узников архива находилась старушка осетинской национальности, с убедительными деталями вспоминавшая: «Лидкин стол вот так вот – напротив моего в нашей норе под номером восемнадцать... Вот и говорю ей: видишь, он сидит допоздна, видишь, томится он... Вставай, бери поднос и иди, неси ему чай – хватай! Кому ты еще сгодишься?!»

«Добротолубие» – ООО, обожравшаяся империя Лиды, вот эти полгода в такой спешке отжимало все земельные пирожные и торты, особенно – в зажиточном и чистом Востоко-Юге, что в префектурах и управах решили: Путин подал мэру знак – празднуешь Новый год и – вали! – заглатывают напоследок. И с козырной, четной стороны Тимирязевского проспекта «Добротолубие» с ходу вышибло оформивших уже разрешительную документацию турок – туркам молча показали: заходит сюда вот кто – и они не поползли в суды, чтоб не вылететь из города, страны – навечно! – и не откупать в Генпрокуратуре возбужденные уголовные дела на учредителей; но на соседних двенадцати гектарах промзоны выведенной в область табачной фабрики «Лайка» присели питерские федералы, ребята наглые и прикрытые со всех сторон, – уперлись и Лиде непривычно говорили: «А не пошла бы ты...» Вцепились в питерских и душили все: милиция, СЭС, административно-техническая инспекция, экологи, городские департаменты, астматики, районные советники; голубятники, многодетные, ветераны и студенты письменно протестовали на Старую площадь, миграционная служба автобусами вычерпывала, осушала азиатскую строительную орду, митинговало окружное отделение Всероссийского общества слепых под охраной казаков Союза кулачных бойцов России. Депутат-режиссер Иванов-1 подвозил в промзону телевизионные караваны и, осторожно опираясь рукой на окрашенный желтым прутик ограждения двенадцати га, поднимал глаза на зрителей с такой скоростью, словно за его спиной – дорогая могила: «Что это строительство даст городу? Нам с вами? Нашим детям? Погибают тихие дворики, где соседи собираются на лавочках под сиренью и пересказывают домашние новости. Мне угрожают. Незнакомый в строительной каске бросил в меня бутылку из-под шампанского, осколками поцарапало ногу до крови. Но – президент Владимир Владимирович Путин призывает нас утверждать нормы права, и я избран для того, чтобы в округе властвовал закон!» Только префектура, только член городского правительства префект Егор Бабец, избитый до синевы полетами между мэрией и всегда очень веселыми представителями администрации президента (те не представлялись, «для связи» оставляли лишь номера мобильных и посреди в целом конструктивно-позитивного обмена мнениями могли вдруг спросить почетного гражданина и заслуженного строителя РСФСР: «Ты че, сука, ты еще не понял, что здесь папины деньги?!»), утратил всякую подвижность, какую-либо ори-

ентацию и плавучесть и, окрашивая кровью окружающую среду, потонул и зарылся в донные отложения, тем более что питерские уже залили фундамент двадцать на пятнадцать на неожиданно появившихся у префекта пятидесяти сотках в Ватутинках – мэр простит?

Мэр, «обеспечив» выборы в Госдуму, удалился в австрийское поместье, взяв страшную паузу в четыре сентябрьские недели, подвесив членов правительства на крюках неутверждения, в «и.о.» – но в прошлую субботу прилетел, и всё, казалось бы, подзабылось и срослось, и мэр – Эбергард видел сам – улыбнулся два раза Бабцу на субботнем объезде реконструкции Бабушкинского аэропорта – и вот...

В машине Эбергард вспомнил: а еще же сообщение! Сообщение прислала БЖ: «Ты мне должен 550 долларов. Я заняла у людей, чтобы купить Эрне вещи на зиму. Это же надо ТВОЕЙ ДОЧЕРИ, а не мне. ДУРА я, что не развелась раньше!!!!!!» – написала Сигилд.

«Членов коллегии», а по правде, весь начальственный люд, собрали в четыреста пятнадцатой комнате, где когда-то заседал райком Ворошиловского района; за столом размещались, согласуясь с именными табличками, замы префекта, начальники отраслевых управлений и главы управ; служилая мелочь опускалась на стулья вдоль стен и заполняла шесть рядов, выстроенных у дальней от президиума стены, где проще дремать или отправлять эсэмэски любимым.

Без опозданий – славился этим – вступил сухопарый и брезгливый управделами мэрии Торопченко с вынужденной улыбкой, словно подзаблудился и в ресторан придется пройти через дизентерийное отделение, ничего не поделаешь, и масочку не захватил, увеличив паузы между вдохами и смотря под ноги, чтобы ни во что не вступить лакированной обувью. Следом, прицепом, на небольшом, неменяющемся расстоянии тяжело тащился монстр, дергая по сторонам боксерски набывчившейся башкой – или перетужил галстук, или монстру позавчера пришили новую голову и он не до конца еще к ней привык; и последним – отвязанный, беспризорный, несомый только воздушным течением – Бабец, пошатываясь, как спросонья; казалось, что на лице Бабца раздавили что-то влажное и он не успел вытереться.

– Принято решение, – равнодушно улыбнулся Торопченко, совершая изящными ладонями необходимые движения, используемые в быту для успокоения детей; через два месяца управделами готовился в двенадцать приемов отметить семидесятилетний рубеж, с завершением на речном теплоходе (чудная советская скромность не позволяла, как советовали дети, перебросить двумя самолетами четыреста двадцать близких друзей семьи на карибский остров или, чтоб не позориться, снять хотя бы на две недели яхт-клуб в Анапе по примеру председателя Верховного суда). – Бессмысленно его обсуждать. Мэр имеет право. Восточно-Южный округ, он у нас... э-э... особенный. Егору Ивановичу за работу – большое спасибо, – и сунул, не поглядев куда, в руки вскочившего Бабца букет и грамотку под душераздирающие редкие аплодисменты – словно морско-речное животное умирало и хлопало лапами.

Бабца вызвали на тринадцать тридцать к Торопченко, даже не к вице-мэру и, едва префект ВЮАО, выбравшись из двойных дверей, прогудел: «Геorgию Валентиновичу, уважаемому, наш поклон и здравствовать...» – ему, не предложив «присядь», показали монстра: ваш новый префект, отправляйтесь и представьте коллективу, позвоните в префектуру, чтобы подготовили букет там и грамоту какую – это было особенностью работы правительства: всегда должны быть цветы, достойно; обратно бывший и будущий префекты покатали в одной машине.

Эбергард подумал: о чем они могли говорить под жадное молчание водителя? А вот от Борисоглебского моста и начинается наш округ... Да-а, по цветникам держим первое место... Вы не у нас прописаны? Да-а, я уже три года в отпуске не был... Скорее всего Бабец молчал. Он плохо запоминал имена-отчества и забыл, как обращаться к монстру.

Кончалась четырехлетняя, теперь показавшаяся мимолетной, очередная эпоха.

Зама тревожно и виновато впитывали движения Торопченко, уже отстраненно косясь на Бабца, как на размытое и испорченное несвоевременным движением изображение: бесполезно, «удалить», ничего не разглядишь толком, – и страшились взглянуть на монстра, но жажда жгла: какой он? какой теперь буду я? Только несгибаемо верный первый заместитель всех префектов, щуплый и рыбацкий Евгений Кристианович Сидоров не спускал переполненных любовью выпученных карих глазниц с монстра и дружелюбно кивал: добро пожаловать, мне и слов никаких не надо, вижу – это твое место, сынок, наконец-то! – ничего, освоишься, поможем, впряжемся всем миром, навалимся, вот я, опытный подлиза-старик, обопрись – сдам всех!!!

Эбергард, как ни клонился, всё равно оказывался виден – преимущественно! – спины впереди как-то подло раздвинулись, противоположно наклонились головы, и между монстром и Эбергардом наискось всей четыреста пятнадцатой простиралась только прозрачная, воздушная, приближающая пустота. Обязательно запомнит, страдал Эбергард, единственного «члена коллегии» в белом свитере и несерьезных джинсах, краснорозевого и распаренного, со слезящимися от хлорки глазами, голова гудела от аквапарковых горок (и тошнило еще неделю); запомнит и подумает «а что это там за такая херня?..» – вот и первое впечатление, попал я с этим аквапарком... Монстр нелегко, словно переживая, терпя, сидел, зацепив локтем край стола, опустив неприязненное лицо язвенника, с жеваной, нездоровой кожей на щеках, и не шевелился, лишь изредка, в непредсказуемое мгновение, не связанное с Торопченковыми словами, вскидывал глаза и коротко зыркал из-под свежестриженной рыжеватой спортивно-военнослужашей челки; полтинник, прикинул Эбергард, плюс годик-два, откуда? что происходит с мэром? в прежние сильные годы разве бы поставил он префектом на лучший после Западно-Южного округ человека не из семьи?

– Новым префектом назначен... э-э, – Торопченко заглянул в листок, – мы давно знаем... э-э... по совместной работе, м-м... А, вот, советником мэра товарищ... трудился. Советник мэра... – Пора было читать биографию, но на листке управделами биографии не находилось, он огласил только год рождения в Смоленской области, вуз да еще пожал плечами и удивленно обернулся к монстру: – Так вы, оказывается, мой тезка?! Ну что ж, товарищи... За работу!

Не шевельнулся ни один. Кроме первого зама Евгения Кристиановича – тот часто и облегченно закивал, словно получил долгожданный условный сигнал или сам давно задумал сменить Бабца. Молчали. Единственным словом, прозвучавшим в четыреста пятнадцатой, кроме легких и обыкновенных отпеваний Торопченко, было слово Бабца. Получая букет, бывший префект лающе сказал куда-то поверх, явно не управляющему делами мэрии, «спасибо!» другим дополнительным органом речи, не ртом, что-то в нем дополнительное болезненно открылось, как окаменевшая и заросшая слизистой зеленью раковина, внутри которой блеснуло какое-то дрожащее окровавленное желе.

Эбергард жалел не его – чего Бабца жалеть, не маленький, через месяц выйдет (мэр следил, чтобы члены семьи оставались в команде, никаких «в никуда») замом куда-нибудь в департамент национально-культурной интеграции общественно-научных организаций местного самоуправления; два загородных дома (Ватутинки пока не считаем), пять квартир, табачные киоски племянника и сауны дочери – это только то, что знают посудомойки префектурной столовой, а сколько еще вывесок, учредительных документов и свидетельств о регистрации, под которые нужно вложено, из-под которых будет сочиться и капать...

Эбергард жалел, что не успел переодеться, жалел, что опять придется поначалу бояться, изучать и облизывать. Жалел только себя, время и силы. И вспоминал, как Бабец, заместителем префекта, четыре года назад хохотал на весь четвертый этаж и всем показывал керамические зубы, подкопав по окружности и повалив префекта Д. Колпакова.

Д. Колпаков, был такой, таежник, охотник, считал себя знатоком итальянских вин, ходил в лучших, но как-то не так улыбался, когда мэрова Лидия о чем-то его постоянно и нараста-

юще просила, а потом поручала, а потом приказывала; выполнял, но с таким лицом (казалось Лиде), будто одалживает; с годами... нетерпение – вот что в ней проявлялось; угадав это, Бабец и похоронил Д. Колпакова тайными походами к вице-мэру – они выпивали вместе еще в бронзовом веке, деля кабинет, лоб в лоб под портретом Брежнева в Красногвардейском райкоме ВЛКСМ.

И однажды Д. Колпаков (летал, конечно, слушок), прибыв во вторник на невыдающееся в целом правительство, обнаружил: в кресле «префект ВЮАО» примостился не особо смущенный, но весь какой-то неузнаваемый зам – выходит, уже не зам, Бабец, а у мэра по правую руку заготовлены букет и бумажно-гербовая благодарность Д. Колпакову за безупречную работу на протяжении многих лет. Друзья, члены правительства Колпакову недружно похлопали, он ослеп, заблудился, ломанулся выйти через особую дверь для явлений мэра, а когда Колпакова поймали и проводили к лифтам, он прошел мимо уже не принадлежавшего ему автомобиля и два часа ошалевше ходил по городу – пешком! Бабец, вернувшись в префектуру с правительства, трубил в четыреста пятнадцатой раннее скрываемым басом:

– Работать хочу! Работать буду! – и повел приехавшего «представлять коллективу» вице-мэра на заключительную чайную церемонию прямо к Д. Колпакову в кабинет – тепло и долго они там сидели, то заливаясь ржанием, то не издавая звуков жизнедеятельности, среди чужих фотографий детей и фотографий собак, рогатых трофеев и желтозубых медвежьих морд, запасных тувель, набитых мятой бумагой, недорасписанных документов и прочих неостывших и неразобранных личных обстоятельств, вряд ли испытывая неудобство, – в правительстве принято, что приехавший в префектуру вице-мэр чай может вкушать только в кабинете префекта, а префект либо и.о., покинув начальственное место, должен скромно засесть напротив с листком для записи внезапных мыслей и поручений вице-мэра, от своей чашки ни разу не отхлебнув, и лично, не прибегая к телефону, выбежать в приемную кликнуть полногрудую секретаршу в прозрачной блузке, если вице-мэр вдруг пожелает еще «фруктишек» или самым серьезным образом наляжет на балык, которому срочно потребуется пополнение.

Эбергард тогда подумал про Бабеца: а будет день, когда и тебя так.

Никто не остановился пошептаться на лестнице, в буфет на первом этаже завернула одна отчаянная – главбух Сырцова; стремительно, листопадом снесло куртки и плащи с гардеробных рогов, отъехали разом, так, что на выезде на Тимирязевский собралась пробка представительских «хюндаев» и четверок-«ауди» с гербами префектуры на лбах.

– Привет, – Эбергард столкнулся на выходе с другом Херибертом, главой управы Верхнее Песчаное, смешливым, всегда причесанным в нужную сторону, но всегда растрепанным хохлом с выдающимся носом, любителем проехать по монастырским скитам и слетать за благодатным огнем в Иерусалим с благочестивыми федеральными министрами и старцами КПСС. Хериберт родился и довольно долго непонятно чем занимался в русско-украинских пограничных землях, в город уже приехал «взрослым», руководил фирмой «вывоз мусора и отлов собак», а потом как-то вписался в «семью».

– А он тебя запомнил, – подсмеивался Хериберт; речь его упрощала провинциальная угловатость произношений, ненужная мягкость, округлость и глухота. – Монстр-то только на тебя и смотре-ел... Как тебе новое руководство?

– Так... Человекообразное. Мужик уверен, что его и хоронить будут в машине с мигалкой.

– Шутки твои, Эбергард... – приобнял и потряс его Хериберт, коротко оглянувшись. – Шутить хватит.

В нашей школе уже другая программа. Телевизор смотришь? А монстр на тебя недо-обро смотрел. Ты бы сразу подбежал представиться – так и так, руководитель пресс-службы, прославлять буду. Спеш! Монстр, я поглядел, совсем нулевой. Пока до нас доберется, до земли...

Нас-то не поменяют до выборов. А с тебя начнет. Объясни, зачем ты ему нужен. Средства-то к жизни надо добывать.

Эбергард улыбался онемевшими губами.

– Не так сфоткают, не тем боком в телевизоре... Да ты весь – на линии огня! На твое место быстро найдется проститутка или чья-то племянница!

Улрике прижала магнитом к холодильнику летописный свиток, где теснились чернильные пункты – первый, второй, второй «а» и прочее.

– Все обследования сделаем и анализы сдадим... Чтобы малыш здоровенький, – погладила Эбергарду затылок, вцепилась и больно дернула. – Ну-ну, терпи. Парочка седых волосков. Давай-ка ты сдашь спермограмму.

– Да ну.

– Надо. Ты папочка у нас зрелый, надо посмотреть, как там у тебя с подвижностью сперматозоидов.

– А как ее... сдают?

– Не знаю. Наверное, оставят тебя одного, в полутемном кабинете...

– С фотографиями Валентины Матвиенко и Кондолизы Райс...

– Дадут баночку. Может быть, в туалете.

– Дома сдать.

– Дома нельзя. Исследования проводят в течение получаса.

– Пошлю с водителем.

– Скажешь: Павел Валентинович, гоните, пока сперма не остыла?!

Взявшись бриться, Эбергард осмотрел подаренный на день рождения гель для бритья и вдруг заметил на тюбике надпись «Не тестировано на животных» – смутную тревогу вызвали в нем эти сведения.

У человека в зеркале старость поселилась под левым веком. Чуть сжала кожу морщинистая лапка. Первым стареет то, что чаще всего используется. С первых фотографий (включая школьные доски почета) Эбергард улыбался, прищурив левый глаз. Вот и появилась метка «это придется оплатить прежде всего». Сразу захотелось поменьше улыбаться; или всё же улыбаться, но глаз уже не щурить. Словно эту дырочку, пробоину еще можно заткнуть.

До четырех часов – утра или октябрьской ночи – не мог он уснуть, чесался, вертелся и ощупывал борозды на лбу: плохо, что дочь перестала звонить. Я же не один такой. У всех так, все разводятся. Довольно пусто и просто прошла молодость, и почему-то не страшно это понимать. Многое упустил, не угадал время. Мало кто угадал. Всё из-за седых волос, это Улрике молодая...

Эрна. Эбергард звонил дочери вчера и, как рекомендовали переведенные с английского «После побоища. Советы психолога разведенным родителям», старался, выговаривал:

– Твоя мама добрая. Я хорошо к ней отношусь. У нас было очень много светлого в совместной жизни...

Мигом, едва дослушав (так близко оказалось это в ней, так много оказалось этого в ней, так сильно, плотно ее этим набили, начинили, засеяли этим его любимого толстячка и комарика), Эрна откликнулась:

– А почему ты ее змеей называл? Насекомым?

И Эбергард задохнулся: когда? Змеей – да ни разу!! Насекомым? Насекомым мог. Но зачем грязь и духоту предразводных мучений безжалостно пересказывали ребенку – зачем? Что теперь с этим делать? С этим нечего делать. Жаловаться дочери, как обзывали его? Он заснул, как только уткнулся в спасительную мысль: Эрна вырастет, всё забудет. Зарастет, не останется белесого шрама, ровно ляжет загар.

Незадолго, в августе, Эбергард расчетливо опоздал на встречу мэра с населением Восточно-Южного округа – мертвоглазые охранники мэра с бледными щеками, как и мечтал, сомкнули и опечатали двери актового зала пединститута прямо перед его носом, замурав в восемьсот пятьдесят отборных жителей – служащих двенадцати управ округа, полсотни проверенных и ухоженных ветеранов – в первые ряды (по окончании их ждали бутерброды с сыром, водка и автобус), задние ряды закрыли несчастными учителями и воспитателями детских садов – их для выполнения жестокосердной программы городского правительства «Зритель» гоняли каждую неделю: то заполнять (дудеть, подпрыгивая в дурацких колпаках) трибуны чемпионата мира по конькобежному спорту в Птичьем, то приплясывать под неутрахающим студеным дождиком в толпе фольклорного фестиваля «Вятка – Москва: столбовая дорога мировой цивилизации», а то и подавно два часа махать флажками и визжать, сцепившись живой изгородью вдоль пути следования возненавиденного всеми олимпийского огня – пусть видит мир ликование России!

Не один Эбергард – опоздал на встречу и лысый ликвидатор-чернобылец Ахадов, профессионально скорбный инвалид, любитель выступить на стихийных митингах против точечной застройки. Любая речь Ахадова начиналась одинаково: «Я попал на развалины Чернобыльской АЭС в возрасте восемнадцати лет, а по сей день езжу на автомобиле “Ока”» – и мечтал, что префектура смирит его буйство неположенной квартирой-однушкой пусть даже в панельном доме или подарит место в подземном гараже – хочешь в аренду сдай, а хочешь продай.

В общем-то Ахадов с постоянной свитой седых женщин, женщин в париках и безработных юристов, кричащих обыкновенно из зала: «Весь округ пивом залили!», «Кругом одна чернота!», «А мы не хотим переселяться! Вот сам и езжай в Бутово!», – прибыл в пединститут за два часа до начала; и мрачными изваяниями закрепились они у входа в зал, но главный санитарный врач округа Бунько увлек борцов к гардеробной стойке неожиданным сообщением, что для профилактики птичьего гриппа необходимо отказаться от яичницы-глазуньи по утрам, затем неорганизованное население (откуда узнали о встрече? никаких ведь объявлений, единственный плакатик на информационную тумбу – за десять минут до начала!) попросили спуститься в цокольный этаж и внести свои паспортные данные в лист регистрации на стойке между женским и мужским туалетом, а также перенести на бумагу все накопившиеся вопросы к мэру и записаться для устных выступлений с микрофоном; а когда Ахадов с активистами гражданского общества, пропуская ступеньки, взлетел в фойе, в зал уже валило правительство и приглашенные на первые ряды, с сожалением отключая свои серебристые, позолоченные, титановые и платиновые мобильники, и требовалось обождать, чтобы соблюсти культуру; а затем охрана вопросительно взглянула на потерявшего голос начальника организационного управления префектуры подонка Пилюса (некоторые в Восточно-Южном округе еще помнили его старшиной милиции, доставлявшим проститутку в гостиницу «Молдавия»), и жирный, одышливый, возвышавшийся над всеми преждевременно облетевшей головой, в настоящее время осененной кое-каким сияющим пушком, Пилюс произвел подобие двуручного благословляющего жеста своими мягчайшими лапами, в которых никакой чемпион по армрестлингу не обнаружил костей бы при пожатии, и охрана попросила граждан не создавать давку, пустят всех, а образовать очередь и дать сперва дорогу делегациям районов; а когда же делегации прошествовали, из зала кто-то неопознанный, но приближающийся к дверям, как от полыхнувшего пламени – бегом, показал руки, сложенные крестом: замыкайте, мест не осталось! – двери сомкнулись и запечатались из интересов антитеррористической борьбы – не зря ведь зал обнюхивал спаниель УВД округа!

Ахадов стукнул было по двери, забарабанил – как?! – но к инвалиду бешено шагнули два коротко стриженных великана, у одного прямо из-за уха спускалась витая белая проволочка и заходила под пиджак, и, больно взяв Ахадова за плечо и встряхивая, пояснили: а смысл отчаиваться? – встреча для опоздавших и непоместившихся будет без изъятий транслироваться

в фойе на плазменных панелях, а на поданные вопросы он получит ответ из мэрии в срок, установленный законом.

Честный и откровенный разговор мэра с населением без посредников и бюрократических препон затягивался часа на четыре; делегации районов спали, оставляя слушать по одному дежурному в ряду, в зале пединститута нагнеталась такая духота, что в позапрошлый раз глава Верхнего Песчаного Хериберт повалился в обморок, и его волоком, расцарапав лицо, затащили за стенды с градостроительными планами, чтоб не удивлять мэра неорганизованностью. В ту минуту Эбергард поклялся: больше никогда... теперь в показном отчаянии всплеснул руками, выругал сломанный светофор на пересечении Тимирязевского с Менделеевским, паркующихся баб, расплодившихся педерастов на кредитных «маздах», «форд-фокусах» и «опелях», лезущих на поворот не из своего ряда, и ликующим подпрыгивающим шагом вырвался на крыльцо – дышать, поглядывать на уток в дальнем пруду, торчащих над водой бутылочными горлышками, и дивиться щедрости плодов конкурса рисунков на асфальте, исполненных к приезду мэра местной одаренной детворой, – детвора не ушла далеко этим будним вечером, вот же она – в сияющей новой форме пинала новый мячик на новой спортплощадке согласно плану окружного управления физкультуры и спорта, вывешенному на освещенной стене, зло помалкивая и довольно обреченно оглядываясь на редко меняющиеся цифры времени на фасаде пединститута.

По исполненным мелом подрастающим новостройкам, многодетным, беременным матерям, дружным детям разного цвета кожи (негры угадывались по распухшим губам и многослойно пружинящим прическам), по роям медоносных пчел и космическим ракетам, похожим на рванные презервативы с ребристыми боками, прохаживался пожилой, необыкновенно чисто выбритый капитан милиции в парадной рубахе, сердито заглядываясь на собственные начищенные туфли.

– Вы главный в округе по новостям? – неожиданно спросил капитан. – Не слышно, Юсипбеков побеждает?

– По шахматам? – Эбергард поднял плечи, опустил: даже не... – Я не слежу.

– Да не. В демократию. В долбаном Татарстане, – пожилого капитана заметно расстраивало неведение Эбергарда; своей потаенной, прячущей глаза неуверенностью милиционер напоминал мужа из рекламы таблеток для импотентов, из той, первой части, когда костлявая жена в черных кружевах манит его в постель, а он отворачивается, обхватывает ладонью взмокший лоб, кусает губы и кричит: «Любимая, засыпай сегодня без меня. Я еще хочу покормить рыбок!»

– А че в Татарстане? – Эбергард сочувственно приблизился.

– Ихний сенатор Юсипбеков схватился с Шаймиевым, – капитан сощурился в некое отдаление, где в обнимку, сопя и ловчась обхватить друг друга поудобней, переступали босиком по ковру потные татары, – протестует, что зажали свободу слова, газеты в намордниках. Предприятия приватизировали только своим, в семью. Самоуправления – ноль. Ручные суды. Милиция там... Ващ-ще, – капитан сморщился и сплюнул горечь меж туфель, – третий месяц уже бьются. Измучили меня уже! Путин-то ведь должен вмешаться! Ведь даже если я это вижу!

– Путин... Конечно, должен. – Неудобно спросить «вы татарин?». – Вы из Татарстана? Или жена оттуда?

– Да нет! Так просто, обидно за людей... Ведь тоже – Россия! А если слетит Шаймиев, то Юсипбекова не поставят. У него братья под следствием за вымогательство и похищение – поставят кого? – И капитан, от чего-то проясняясь, пропел: – Нургалиева. А как с министров уберут Нургалиева, начальник ГУВД Харитин затопчет нашего окружного Мищенко в две минуты! Он Мищенко не-на-ви-дит. Комиссии с округа не вылазят, как аттестация – Мищенко заныряет в реанимацию!

– Почему?

– Мищенко не тамбовский. Харитин на все округа своих, тамбовских поставил, а Мищенко снять не может, тот в волейбол с Нургалиевым играет. Без Нургалиева нашего окружного вынесут! – Капитан злорадно рассмеялся. – И тогда! Наш начальник ОВД – в тот же день! – Пляскина уволит, своего зама по розыску. Его Мищенко со своего занюханного Зеленограда привел. Куча дерьма! А не уволишь – Пляскин с нашим окружным по таможенной части шустрят, гонят контейнеры с Китая. В ОВД заезжает раз в неделю, только деньги забрать – за год «лексус» и «ренджровер-спорт» взял, и жене... А нашему начальнику на день рождения гантели принес, слышишь – полковнику милиции! Тот упаковку резал, поверить не мог – одни гантели?! А Пляскин вылетит, – капитан прошептал, – и Чупрыне не жить.

– А это вы... Чупрына?

– Если бы! Чупрына Пляскину дачу строит. Они с Пляскиным вот так во, – капитан растопырил малиновые, словно отдавленные, пальцы, свел ладони вместе, образовав противотанковый еж, пальцы намертво сжал и показал Эбергарду получившуюся модель суперпроходимой вездеходной крыши. – Чупрына – участковый, как я! Мальчик, сопли еще! А мозги натренировал – знает, где вычитать!

– А он вам... что-то...

– А то, – капитан сильно покивал фуражкой, словно пытаясь согнать с нее ртутные дождевые капли. – А то, что я и не знал, что гордума районы заново помежевала в позапрошлом годе... И пристанционная площадь в Песчаном, где бабки несанкционированно торгуют, хохлы, белорусы текстилем и мебель у них, и черные по выходным подъезжают с машин овощи... Тоже незаконно. Что это уже не мое... Что это уже Нижнее Песчаное, а не Верхнее... Притащил, сволота, закон с гордумы и доказал: это его теперь территория, а моя кончается на кругу, где троллейбусы разворачиваются – а туда только семечки да носки выносят с трусами, да и то если без осадков. А бабки эти, белорусы, хохлы да черные, да еще когда бахчевые пойдут, э-эх, – капитан не сдержался, повел ладонью перед собой, словно вошел в сверкающее пшеничное море, переходившее там, вдалеке, в слепящее сияние подсолнечника на зеленых волнах. – Там, дружище мой... В Эмираты хоть каждый месяц летай. Там, дружище, на всё хватало, – и еле слышно заключил: – А теперь – Чупрыне. Такой гаденыш! – и с болью мотнул головой.

– То есть снимают Шаймиева... – Эбергард ничего не понял. – Нургалиев уходит, начальник ГУВД увольняет окружного...

Капитан еще раз прошелся по всей схеме, проверяя верность соединений:

– Следом вылетает Пляскин, а за ним – Чупрына, – и взглянул с вопросом: понял?

– И? – осторожно спросил Эбергард.

– И я – в Нижнее Песчаное! – неприязненно закончил капитан, обижаясь, что главного Эбергард не уловил. – Ну не может Путин как гарант в Татарстане не вмешаться! Я думаю, палю-бо-му – Шаймиеву не усидеть! Ведь слежу по Интернету – чистое средневековье в Татарстане... Всё, как мы читали: какие-то баи! Феодализм! Да и народ, как ни запугивай, а терпение-то не бесконечно. Лопнет ведь? Выйдут за правду на площадь! И встанут. И скажут! Верно?

Эбергард вздохнул, одинаково не зная, где правда, что правда, что будет; они с пожилым капитаном иноземцами безмолвно взглянули в начинающийся вечер, поверх человеческих ручьев и малых речек, струившихся под теплым ветром от метро «Панки» радиальной, – ответвляясь в «Перекресток» на улице Кожедуба, возле которого нищие, утепленные шарфами и лыжными шапками смуглые дети гонялись за богатыми и, настигнув, крестились в упор, дальше, погрузнев сумками, течение замедлялось и тонкими струями, каплями, волнами растекалось в подъезды и дворы, окруженные четырьмя панельными полотнищами; кратчайшими тропками возвращался в гнездовья офисный люд, женщины с поблекшими вечерними лицами несли на спинах мысли об ужине и мысли о выездной пятничной торговле овощами и фрук-

тами из Липецкой области и персиками из Испании; в подъездных пыльных окнах дрожа распускались пятна света, пестро, в разную мощность.

Брызнул свет в фонари, воздух, тишину наполняло автомобильное нарастающее и стихающее шипение, подстегиваемое сигналами нетерпеливых. Капитан и Эбергард смотрели куда-то превыше, над слабо подсвеченным облачным подбрюшьем, где еще незримыми мириадами звезд расположилось и сияло им всё то, во что давно пора вмешаться Богу, а еще лучше Путину.

В фойе к плазменному экрану, как к постели больного, шепчущего в полузабытьи и вразнобой детали завещания, клонились начальник оргуправления префектуры Пилюс и украшенный перстнями и золотом Валера Гафаров из окружного управления культуры. Пилюс слушал внимательно и поощрительно, помечая в ежедневнике, телевизионного мэра, опаляемого непрерывными фотовспышками. Мэр с неторопливостью главного гостя, с накатом, рассекая правой рукой что-то невидимое, но неубиваемое окончательно, вот опять! – подлетающее к нему, ничем не стесняя вроде бы обезумевшие, не ожидавшие ничего такого и близко аплодисменты, обещал районам Заутреня, Измальцево – и даже Старо-Бабушкинскому! – легкое метро – в будущем году! На сцене, да и в зале все знали: метро в Заутрене и далее не будет – всё, что строится больше года, мэра и Лиду уже не возбуждает, если только на близящихся выборах в гордуму и на выборах президента мы все: ветераны, наши терпеливые подруги – жены, наша удивительная (сжал мэр кулак и потряс, словно наказанную муху) молодежь – сделаем правильный выбор – отдадим голоса стабильности! Преемственности! Процветанию и – единой России! – Мэр поднял обе руки: – И-и-и – поддержим нашего президента!!! – И запил водой под бушевание зала.

– Щеку не трогал? – спросил Эбергард. Если мэру что-то не нравилось, он щипал левую щеку, словно проверяя качество бритья. Выступления на правительстве (даже если успевалось только «Глубокоуважаемый Григорий Захарович, уважаемые члены правительства и приглашенные. В первую очередь я бы хотел...») сворачивались в «Спасибо за внимание!», как только мэр трогал щеку.

– Эбергард, – Пилюс начал раздуваться и розоветь, дрогнули жирные щеки и скопившееся тесто под подбородком, – завтра в девять мне на стол объяснительную о причинах неприсутствия на встрече!

– Есть, Сергей Васильевич. Как у тебя с прямой кишкой? Газы хорошо отходят?

– Я буду докладывать префекту. Лукавите с префектом!

– Да ладно тебе, – чуть не сорвалось «толстый».

– Со всеми лукавишь! – над белесыми бровями Пилюса вдруг образовались гневные ямки, подскочив и нависнув, он просипел, бешено, обрываясь: – Смари... Без ног останешься! – Мгновение – и мчался уже, заранее шутовски приседая и помахивая воображаемой шляпой, – в фойе в поисках туалета забрел водитель мэра, и Пилюс бросился его проводить и запомниться на всякий случай.

– Че ты так с ним, – поморщился и тянул с освобожденным, намаявшимся в заточении и оттого трижды усиленным акцентом Гафаров. – Гнус, конечно. Но, говорят, с территорией у него отношения есть.

– У солнцевских он никто. Шавка. В бане кому-нибудь спину трет.

– И главы управ, говорят, через него Бабцу толкают.

Эбергард только презрительно фыркнул и послушал мэра.

Гафаров с некоторой робостью потревожил Эбергарда еще:

– Недовольна Лида нашим, а? После выборов снимут Бабца? Кажется, и мэр как-то... нервничает. Говорят, Путин его вызвал, – шептал уже будто себе Гафаров, – и спросил: Григорий Захарыч, ваша семья еще не наелась? Может быть, и нам пора покушать? Обеспечите

выборы, и приглашаю вас после нового года стать моим советником... А в город Зинченко пойдет из питерского ФСБ. И – снимут всех. – Гафаров бессвязно добавил: – У меня ты здесь один друг, один живой человек. С этими разве поговоришь.

– О, а это мой кусочек, – показал Эбергард на трансляцию и вытащил из кармана свой экземпляр стенограммы, чтобы сверить.

Мэр пропал. Камеры поймали и приблизили старика. Переступая телевизионные шнуры, старик шатко брел к микрофону «для вопросов с мест», отстраняя растерянно оглядывающихся на невидимых старших охранников, сгибаясь под орденоносной тяжестью пиджака, и то умоляюще, то гневно взмахивал искривленной, словно неправильно сросшейся после перелома, ладонью: дайте ж слово, я!

Зал напряженно молчал.

– Григорий Захарыч, – прочел Эбергард, – уж извините, что прервал, без записи, Синцов Николай Игнатьевич, район Заутреня, фронтовик, инвалид...

Доковыляв до стоящего цаплей микрофона, старик вцепился в него и, закрепившись, неожиданно звучно захрипел:

– Григорий Захарыч! Уж извините, что прервал... Без записи. Синцов Николай Игнатьевич. Район Заутреня. Фронтовик, инвалид...

– Николай Игнатьевич, для этого я и встречаюсь с населением, чтобы без записи... – пробормотал Эбергард.

Мэр уложил локти на трибуну и улыбнулся с не присутствующей в живой природе кошачьей теплотой:

– Николай Игнатьевич! Для этого я и встречаюсь с... – показал рукой в зал, – чтобы без записи, напрямую... – И объявил, подбравшись и налившись жадным и тревожным вниманием, словно подсвеченный далеким пожарным заревом: – Слушаю вас!

– Хорошо тут говорили и за метро, и за магазины шаговой доступности, – перечислял Эбергард.

– И за то, чтобы летом на лыжах кататься, в трубе, – заходил издалика на цель старик, словно ведомый диспетчером. – Чуем мы, недобитки, вашу заботу... Но хотелось ба, чтобы и вон те...

– Рукой.

Старик освободил левую руку и показал в обмерший президиум:

– ...помнили о тех, кто отдал свое здоровье. О каждом. А то пообещали нам машину с ручным управлением. Бесплатно. К юбилею Победы. Август уже. А машины нету. И в управу писал. И в префектуру вашим там... И депутату Иванову-2. Все отвечают, – старик развел руками, – в течение года получишь. А вдруг я...

– Кончусь. Легкий смех, – следил по бумаге Эбергард. – Годков-то мне – восемьдесят семь.

– Лет-то мне, – старик задумался и потряс головой, боксируя, что-то припоминаяще пережевывая, – а верней: годков-то мне – восемьдесят семь! Сегодня вроде бегаю еще, а завтра... А вдруг не доведется проехать за рулем до внучек...

– Николай Игнатьевич, – поднял Эбергард руку, – вопрос ясен.

– ...ясен. Присаживайтесь, пожалуйста, – мэр вздохнул, опустил руку и как-то расстроился, пришлепнул ладонью и чуть смял лежавшие перед ним бумаги и вроде знавшие подробности всё – но не это! Подвинул стакан, еще вздохнул и закусил губу, превращаясь в то, чем физически был на самом деле, – тучного, маленького, вислощекого старика, давно уставшего от ежедневного этого всего...

– Знаете. Сейчас вот подумал, – бормотал Эбергард.

– ... Что мы, – цедил мэр, тускло вглядываясь в не смевшее отвести глаз правительство, – в теплых своих кабинетах... Очень часто стараемся делать всё-всё – по закону. И при этом сами, как люди, как-то... глохнем... Кожа толстеет, слепнем...

– Всё надеемся на правильный документ, на харроший закон...

– ...А человека, – мэра прожгло, и он сморщился в страшной тишине сострадания, – живого, отдельного, родственника нашего...

– Дебил! Брата нашего! – Эбергард с возмущением врезал по коленке, Гафаров, подброшенный бесшумным взрывом, вскочил и отбежал, словно потребовали его заботы, двумя поворотами головы по девяносто градусов установив, кто, где, на каком расстоянии и что могли...

– ...Родственника родного... – вздохнул мэр, как-то заскользив. – Нашего... Того, кто... Как родной. С нами... Брата не слышим! Вот – брата! Родного, может быть, брата!!!

– Потребительский рынок. – И Эбергард скомкал стенограмму, листы шевельнулись еще в его ладони как живые, пытаясь расправиться.

– Корешков! Есть здесь Корешков, потребительский рынок? Могу я вас попросить, Андрей Сергеевич, чтобы к окончанию нашей встречи, а именно, – мэр показал президиуму наручные часы с приложенным к циферблату собственным пальцем, и голос его пустился в рост, имея в виду утонуть в крике, – к двадцати одному ноль-ноль! У входа нашего дорогого Николая Игнатьевича чтобы ждал положенный ему автомобиль, и мы все вместе попросим Николая Игнатьевича, во-первых, нас покорнейше извинить, а во-вторых, сесть за руль собственного авто и поехать навестить своих внучек, и пусть телевидение это покажет! Будет?!! Обождите, товарищи, хлопать. Корешков, я не слышу, что ты там мямлишь, ты всем скажи – вон сидит народ, кому мы служим! – будет? Или нам дальше с тобой не работать!

– Будет, – ахнуло что-то приподнявшееся в президиуме, роняя очешники, авторучки и телефоны, и суетливо поспешило на выход.

Мэр, зло сощурился, обвел взглядом каждого в президиуме, и только потом утомленно опустил голову, пережидая аплодисменты и восторженный рев.

– А я-то удивлялся, подъехал: на парковку не пускают, а инвалидка какая-то новенькая стоит. – Гафаров подсел обратно и тронул Эбергарда за плечо. – Переехал?

– Дом еще не сдан. Пока на съемной.

– На съемной! Я тебе удивляюсь. Сколько тебе лет?

– Тридцать шесть.

– Ну, и зачем ты развелся, Эбергард? – Гафаров ближе двинул стул, сидели словно на лавочке. – Остался бы. Ради дочери! Ради детей мы живем. Эх ты!

Странно: человек всегда помнит, сколько ему лет. Не ошибается. Никто не припоминает утром в кровати и не высчитывает.

Остаться с бывшей женой, с БЖ. Жить до смерти с Сигилд. Ради Эрны.

Если бы Эрна спросила его: как так получилось, ну, у вас с мамой. Что бы ответил Эбергард? Да так, ответил бы. Собирались лежать в одной могиле. Но передумали.

Но себе (эти разговоры внутри черепа текли как кровь, постоянно и становились различимы в любом одиночестве его, заполняли его личное молчание, даже когда ел, когда сидел на коллегиях) он отвечал еще.

Почему развелся? Больше не мог гулять каждый вечер с собакой один. Год за годом. Не любил жену, совершенно и давно. Жена пахла смертью. Убожество. Не совпадали. Во всем – рознь. Последний год молчали, не только зная, но и ненавидя всё, что каждый произнести мог. Эбергард не мог сделать жену счастливой... Из оправданий это он примерял первым, для повседневного ношения.

Нет, сперва вот – БЖ его не любила. Хотя неважно... Ни сильно не любила, ни слабо, ни из уважения, привычки, страсти (да смешно...), скуки – никак. И только потом (он оборачивался: хватит?) – он задолжал. Улрике уставала ждать. Самая красивая девушка в окружном

управлении здравоохранения не говорила: идут годы, а что у меня есть сейчас, что у меня там впереди? Я вся, всё тебе. Когда-то будет – мне? Это звучало само. Трещало в ветках южными вечерами. Завелось и расплодилось в мобильнике и заселило всю его жизнь. Так само склеилось, подстроилось, образовалась дневная рабочая смена: поцеловать, сказать, принять доставляемое счастье – на этикетке, в приходнике указывалось «счастье». Эбергард не говорил «счастье», он отношения с Улрике никак не называл; кто-то другой, посторонний предложил бы варианты «нравится», «удобно», «подходяще» – принимаемый, но не оплачиваемый товар лежался за месяцы и годы (да, так незаметно, незаметно, а – пять лет) в сонную повседневную вату, она вроде и не весила ничего, но – если Улрике не было день (вот если не она, а он уезжал на море с семьей – другое совсем дело!), неделю, или ссорились, и Эбергард вдруг на тоскливую минуту в точности представлял, как это – навсегда совсем «далше без нее» и у Улрике сразу появится сильный и лучший другой, сделавший Эбергарда не просто «вчера», а «несуществующим вчера», – сразу чуял он что-то похожее на... Сгоревший дом, где жить... На... болезнь и обмочившую клеенки старость – больше никому не нужен. На... нечем жить, всё уже случилось.

Почему Улрике? И об этом думал, но прежде. Сейчас поздно об этом. Ведь не только молодое тело и тепло «меня опять полюбили». Эбергард заметил: он незаметный инвалид – чтобы чужаки себя уверенным, ему приходится прилагать дополнительное усилие. Как ребенку в игре больших. Чтобы никто не догадался, что он ребенок.

Всё, что он видит, всё, что чувствует... нуждалось в чем-то подтверждении. И этот, который рядом (вот кем умела делаться Улрике), должен не просто подтвердить: да, ты это видишь. Чтобы сказал, что именно там видно. И только после этого Эбергард начинал сам... понимать. И переживать увиденное по-настоящему. И мог что-то делать.

«Я как-то недоразвит». Оставаясь один, говорил себе вслух.

Так задолжал, и ежедневные выплаты гасили только начисляемые проценты за использование, не уменьшая суммы задолженности, – дожидаясь каждый вечер в сберкассе (вдруг кто-то привяжется, не сможет выйти с работы одна), провожать, каждый день, не просто до метро, а еще вниз. Пряча нетерпение (это для Улрике ничего больше не существовало! – а у него по домашнему адресу существовало еще как! – и росло, и дожидалось его тот же самый каждый вечер!), грустно (пять лет не улыбаться в эту минуту, ему же больно расставаться с любимой), с заботой, отводить для отдыха взгляд (хоть на что-то!) на меняющиеся цифры метрополитеновского времени – что бы загадать? И не успевал – подходил освобождающий поезд, возвещая о своем приближении вразнобойным раскачиванием круглых фонарей (качались, били немые колокола) и гоня перед собой из тоннеля, словно выдыхая, плотный ветер.

Следующий блокпост: объятия и поцелуи (а вот и закрываются двери), прощальный взмах руки, сожаление (пять лет!) лицо – он махал рукой с запасом, на всякий случай: вдруг безумное оптическое несчастье – вдруг любимая, Улрике, еще видит его сквозь три вагона, засечет облегчение, заселяющее лицо, улетающая в тоннель? И – делался собой, еще одним самим собой, и взбегал по помогающим ступенькам (и часто на улице в машине ждали его Сигилд и Эрн – «встретим тебя у метро»), и чувствовал себя одинаково: наслаждался освобождением, сдан экзамен – каникулы!

Шло нормально и безболезненно как-то. И теперь – ничего, не вспоминаются первые дни и недели юного тепла с Сигилд, воспоминания не приходят, не тревожат, словно не могут прибыть сами по себе, словно воспоминания как вагоны – их сила должна притащить... сила чего?

Вот что заболело – зимой Эбергард с Эрной сели в первом ряду «иллюзионного театра» (уже переехал к Улрике, но с дочерью как всегда ходили куда-нибудь – каждый выходной), расстегнувшись, но не раздеваясь – холодно! Поверили рекламе, а оказалось – подвал, скамьи на тридцать мест в вымирающем госучреждении культуры в районе Тимохино,

там во дворе еще выстроили сарайчики и клетушки зоопарка – за стеклами, запотевшими, как в дыму, томились фазаны, ворочался хряк и мерзла кенгуру – меж клеток уважительно вели возможного спонсора торгово-азербайджанского вида. Спонсор жадно грыз семечки и плевал, в «иллюзионном театре» его тоже усадили в первый ряд, и седой абориген давал пояснения на ухо, указывая то на отопительные батареи, то на определенный угол почерневшего потолка, то на сцену. Свет погас и зажегся, обнаружив на сцене толстого фокусника с блудливым лицом в адресованном спонсору черном фраке и четырех фей.

Фокусник попятился, вглядываясь во что-то затылком, утопил зад в черном занавесе, оцепенел и вдруг натужно и механически равномерно пополз вверх, то есть – всплыл над сценой, мелко и как-то неуверенно помахивая, барахтаясь руками.

Зрители недоуменно молчали.

Лицо фокусника напряглось, и он осторожно завис в метре над сценой, скрестив ноги. Феи набросили ему на шею обруч, фокусник крутанул его пару раз, свалил на живот и с грохотом уронил под ноги, доказав, что с земной твердью ничем не связан, и выманил сострадающие аплодисменты.

С прежней натугой он опустился на сцену, заметным движением отцепился от чего-то металлического, проскрежетавшего за спиной, и отступил, давая феям потанцевать. Самая красивая, брюнетка, танцевала хуже всех.

– Для исполнения следующего номера нам потребуется... Ну вот хотя бы вы. – Фокусник схватил за локоть покорно поднявшегося Эбергарда и прошептал: – Как звать?

Эбергард также шепотом ответил, фокусник развернул его к публике и прокричал:

– Для начала я угадаю имя! Моя ладонь. На ней ничего не написано? Смотрите на мою ладонь и думайте – только – о том – как вас – зовут!

Эбергард смотрел на мятую кожу, в чужую ладонь, походившую на овчарочью морду, послушно проговаривая про себя: Э-бер-гард; почему-то стало душно и страшно.

– Вас зовут... Эбергард! Так?!

Эбергард неубедительно поразился. Феи выкатили гильотину, поставили его на колени, шея легла в железную выемку, сверху прихватила такая же выемка в опустившейся доске и заперлась на замок – теперь снаружи, к зрителю, торчала одна голова.

Эбергард, усмехаясь, пытался задрать голову и посмотреть в зал, но светильники с потолочной штанги слепили, он больше не видел дочери. Эрна.

В круглую дырку на ладонь ниже его подбородка воткнули зеленый банан. Улыбнитесь, зрители: вот он тянется мордой к банану, но не достанет – руки-то скованы.

– Внимание! Я нажму этот рычаг, – фокусник, видимо, положил куда следует руку, – стальной, остро отточенный нож обрушится и безжалостно срубит тропический плод, но голова, – он потрепал Эбергарда по затылку, – уцелеет. Бывали, правда, у нас пару раз, хе-хе, накладочки...

Эбергард наконец всмотрелся сквозь жаркий, раскаляющий и останавливающий кровь свет, выбрал среди глазастых бледных пятен и опознал: дочь застыла в каком-то страдальческом наклоне, словно берегла больное ухо от сквозняка или ее попросили так наклониться, чтобы не загоразживать задним, губы ее тесно сжимались и тянулись вперед, как всегда, когда она что-то терпела – взятие крови или их с Сигилд ругань, – но он не понял, смотрит Эрна на него? нет? – сверху что-то лязгающе обрушилось, он уронил голову и зажмурился.

Пока показывали фокусы, пошел липкий и чистый снег. Растает? Или много нападает, до сугробов, и на тротуарах раскатают ледянки?

Эбергард подождал у подъезда, пока Эрна сбегала за мешками мусора, – вынесу сам, – они обнялись и постояли, как всегда, замерев и зажмурившись. Он проводил дочь и бросал в ее окно снежки, Эрна хохотала, когда легким тычком снежок лупил в стекло и осыпался, оставляя белую оспину, словно след копытца, а после – махнул рукой и в безмятежной радости подхва-

тил крупногабаритный мусор, какие-то коробки, пахнувшие пирожными и пролитым вином, – теперь, после него, у БЖ, в его бывшем доме часто бывали гости, – понес к мусорным контейнерам и вдруг заметил, что навстречу движется его собака, так же, как всегда ходила с ним, только как-то грустно переставляя лапы по снегу, на поводке у существа в вязаной шапке – на существо он не взглянул, без разницы, урод и урод, – Эбергард улыбнулся собаке, промахнулся над играюще задравшейся мордой мусорным пакетом и уронил его в четырехугольные колодезные недра; и не обернувшись – рванулась за ним собака? нет? – побрел к машине, забираясь и забиваясь в фанерном, посылочном ящике тоски. Стыдась: не погладил собаку! И поехал.

Под продуманные уговоры водителя (Павел Валентинович просил в счет будущих зарплат беспроцентную ссуду в двести тысяч на покупку машино-места) он смотрел на свои руки: в них ворочается боль? Да. Не потому, что у Сигилд «кто-то есть», пусть спят и будут счастливы, рожают детей. Потаенно-свиное шевельнулось потому, что урод пошел к его дочери, а он, Эбергард, – с высокой скоростью удалялся в противоположную сторону, и каждое мгновение – удалялся: стоял на светофоре – удалялся, выбирался на Третье кольцо и еще больше – в юго-западном направлении, а потом на юг, уставясь в телефон, в набранные, непринятые, рассматривал свою боль кончающимся вечером после «иллюзионного театра», после ресторанных шашлыков и счастливой беготни друг за другом с потными головами по новому снегу, в тот именно вечер, когда он почувствовал крепкое (а выходит – показалось): мы родные, вместе, так будет всегда, со взгляда в роддомный сверток, в спящее лицо, сразу показавшееся ему прекрасным...

А это только укус, яд подействует позже. Позже – его Эрн обнимет урода в благодарность за подарочный пакет. Потом (мама подскажет) и поцелует. Будет его как-то называть. А попривыкнет (и маме приятно, ведь он столько делает для тебя) и – папой. На свадьбе, благодарно глядя на урода, будет говорить тост «за родителей».

Он не мог не смотреть на телефон, но Эрн не писала.

Главное – не обижаться. Нельзя говорить: а маме ты пишешь по двадцать раз в день. Но он так обязательно скажет.

Той же ночью, когда первый раз возникли болевые ощущения, позвонила Сигилд. Он задыхался, как только видел ее номер, и с лающей ненавистью уже кричал навстречу:

– Алло!!!

– Когда ты еще привезешь деньги? Ты даешь мало! Мне приходится бомбить на машине, чтобы заработать Эрне на репетиторов! Обязан нас полностью...

Отключил телефон и наливался свинцом. Тяжести. Чтобы, как прежде, легко ходить и всех веселить, потребуются дополнительные усилия.

Руки сжимались сами собой, чтобы крепко держать Эрну.

В августе двери распахнулись взрывом, штурмом, нарыв лопнул, и распаренное счастливое население хлынуло, кто прыжками по лестнице вниз и – в туалет семенящей пробежкой, кто – сразу на улицу, жадно вставляя сигареты меж губ и выкликая водителей в мобильники, а кто к буфетным стойкам зацепить поразительно дешевые бутерброды с икрой и красной рыбкой; мэра осаждали крепостные телевизионщики, за спину его решительно протиснулся и мрачно встал кроваво-синий Бабец, совершенно заслонив беззвучно выматерившегося председателя гордумы, и тот теперь, подпрыгивая, мелькал на мгновение лысиной то из-за левого плеча Бабеца, то из-за правого и опять проваливался. Словно получая подзатыльники, Бабец кивал каждому сказанному мэром слову, тревожно глядя куда-то поверх и вбок, где с грохотом громоздились одна на одну горы размечаемой мэром работы, отжимая левым плечом ректора пединститута, пытавшегося напомнить о хозяине зала в вечерних новостях, а правым, не нажимая, но и не уступая, сиамски сросшись с лохматобровым вице-премьером Левкиным, несмеемым руководителем «строительного блока» в правительстве, – еще в прошлую пятницу все

шептали: Левкина арестовали прямо в барокамере, где он проводит по три часа в день, чтобы скоростно не умереть на семьдесят шестом году жизни, что на даче и в квартире его идут обыски, изъяли слитки золота и знаменитую коллекцию запонок с бриллиантами! лета не проходило, чтобы Левкина не «арестовывали» то в кабинете, то в итальянском поместье на озере Гарда, где воздух такой сухой, что не бывает пыли. Раз в три месяца мэр, дождавшись по федеральному каналу прямой трансляции заседания правительства или демонстрации обманутых дольщиков, заглядывая в бездны между словами, цедил закрывшему лицо руками Левкину: «Мы вас уволим, Левкин. С вами, Левкин, нам дальше не по пути», но проходил год, еще год, еще, еще два, еще, и «Добротолубие» Лиды без Левкина, как и прежде, не ступало и шагу.

Вокруг сплотившихся спин и крепких, серебрившихся сединой затылков крутился маленький и сухонький первый зампрефекта Евгений Кристианович Сидоров, обросший сивыми космами, наметив расцеловаться с китайцем – пресс-секретарем мэра и Володей Пушкиным – начальником охраны (в интервью «Известиям» весной мэр признался: горько, но теперь, когда он поднялся на ледяную вершину одинокую, друзей у него осталась двое всего: китаец да охранник, и, если мэру плохо, на ночной кухне он делится с ними); с китайцем и Пушкиным все встречные целовались теперь в губы да еще норовили дружески сграбастать, приподнять в воздух и потрясти.

Кристианыча не любили за подлость, он всех равнодушно ненавидел, особенно Эберггарда, взявшего в любовницы, а затем в жены госслужащую из округа, которая в общем-то производила впечатление на значительное число лиц, и сам Кристианыч, видимо, как-то задумывался: а вот бы с такой бы...

Говорили: настоящая фамилия Кристианыча – Рыжик. В году обязательно бывал день, когда на фасадной стенке кинотеатра «Комсомолец», глядевшей на префектуру, за ночь малевалось размашистое «Рыжик, мы всё знаем!!!!» и утром пожарно устранялось силами подчиненного Кристианычу жилищно-коммунального хозяйства управы «Смородино».

Слизняком тек, черепахой ползал, просачивался Кристианыч вдоль префектурных стен, подслушивая, следя, встречных, кто послабее, не узнавая, с подчиненными разговаривал брезгливым шепотом, не предлагая сесть, совещания проводил с образцовой краткостью и дельностью, потешно разводил руки перед равными и начальством: «Да кто я? Так, ничего... Дворник! Бумажки с места на место перекладываю» – и мог бесследно замотать любой вопрос, отговорить префекта от любого шага и всех вокруг столкнуть, запутать и перессорить.

Кристианыч наизусть помнил площадь каждого водоема в округе, включая пруд во дворе индонезийского посольства, нормативы, расценки, цифры бюджетных статей (даже в прошлом году), расход краски на квадратный метр, не терпел опечаток и опозданий, хотел, чтоб про него говорили «профессионал», смеялся только тогда, когда префект находил уместным рассказать анекдот, но тогда уже – до икания и падения лбом на стол; чаще Кристианыч зловеще предостерегал – любимейшее его особенно население на встречах, – предостерегал темновато и страшно, словно единственный зрячий среди слепцов, будто видит он один те «силы», «коекого», толкающего простой, добродушный люд на самоубыточные волнения, чтобы «обострить», «столкнуть», «подорвать», паникой вынудить к переезду; ведь для чего это всё? – а чтобы подешевле скупить ваши квартиры! – не поддавайтесь, мирно разоидитесь, потерпите еще полгода без горячей воды или круглосуточное забивание свай под окнами и – всегда верьте властям!

Пыльной тлей, жуком жил, прогрызал свою дорожку Кристианыч в бумагах, в папках, в кабинете, не выезжая дальше мэрии с восьми утра до двадцати двух (и по субботам и воскресеньям в префектуре светилось его окно), не имея (официально) в собственности ни машины, ни дачи, секретаршу не гладил, о семье-детях не знала даже главбух префектуры Сырцова, славившаяся своим умением зайти мимо секретарши в любой (вроде бы «я сам же закрывал!»)

кабинет в такой момент, что и через десять лет без жгучего стыда не вспомнишь, и молчать после этого надежно, но с особенным значением.

Префектов, каждого префекта Востоко-Юга, Кристианыч не обожал – а впивался и впитывал, телесным органом префекта становился, какой-то заботливой, перерабатывающей всякую дрянь печенью, правой или левой рукой, отводящей опасности во тьме, чутким носом, первым улавливающим, откуда это понесло и чем, клыками, прямой кишкой, приличной прической, осеменителем, ногтями, желудочным соком, ресницами, позвонком, ягодицами для удобного сидения, согревающим слоем подкожного жира – на общих фото с префектом оказывалось, что один человек прямо, на фотографа никогда не смотрел, – Кристианыч, ребенком, привстав на носочки, не отрывал глаз от префекта; «верность» – вот что он хотел, чтобы говорили про него, кроме «профессионал», верность; префект Востоко-Юга (кого бы ни присылали) казался ему обойденным судьбой – что такое префект для такого... он же готовый мэр (тихо, тихо, Евгений Кристианыч, шептал ему префект, радостно краснея), а если говорить прямо – Россия благоденствовала бы с таким президентом!!! Смысл проживаемых Кристианычем дней и был – в служении, основанном на любви без выгоды, на преклонении, и если Кристианычу изредка (и даже нарочно) любовь эта казалась недостаточно ответной, если ему казалось, что префект не до конца и не полностью понимает, почему он здесь и ради кого – в конце-то концов! – пашет с восьми до двадцати двух (не ради выслуг, нагрудных знаков от мэра и квартальных премий), то Кристианычу скорбью сводило губы, и слезы вдруг вытекали из прохудившихся глаз, и текли, одна за одной, по невысыхающему пробитому руслу, и он просто тряс головой (всё равно страдая – отвлекает префекта, нарушает покой своей раненой малостью...), ибо не находил сил выразиться словесно, и префект понимал окончательно всё; обняв старого преданного пса за плечи, он уводил Кристианыча в комнату отдыха, где скрежетал, поворачиваясь, ключ в сейфовой двери, и булькал коньяк в походные рюмки, и тишину оглашал мокрый и крепкий мужской поцелуй: вместе, до березки!

Первым префектом на Востоко-Юг волной демократии вынесло двухметрового гривастого Лукьянова, методиста станции юных техников на Жлобени, а потом вице-президента Народно-демократического фронта. Лукьянов носил плечистые (то малиновый, то сиреневый) пиджаки с неопознанными гербами, идей у него хватало: бесплатные бани и международный аэропорт со свободной экономической зоной на Волгоградском проспекте, но больше всего Лукьянов любил исполнить собственные песни под гитару, кто бы послушал, – Кристианыч сблизился с вдовой Визбора, повесил ее фломастерную благодарность «за спонсорскую помощь» над портретом мэра, на столе держал биографию академика Сахарова с закладками, на префектурные субботники надевал зеленую стройотрядовскую штормовку с буквами МХТИ на свитер, попытался, хоть и без успеха, но заметно, что-то вырастить походное на подбородке и каждый вечер приходил к Лукьянову (все пять месяцев, пока азербайджанец, прихваченный на неоднократном изнасиловании несовершеннолетней, а скорее всего – вынужденными обстоятельствами переменившегося времени, письменно не заявил: его принудили оплатить префекту свадьбу, медовый месяц и однушку теще префекта за аренду участка для строительства кафе и четыре места для мелкорозничной торговли) – приходил и просил: спойте еще, сроднился с этими какими-то пронзительными, ни на что не похожими песнями, хожу и мурлыкаю, знакомым напеваю (они: о-о, вот это да... да кто автор?!); договорился издать их массово, презентацию сделаем в кинотеатре «Комсомолец», хотя, по совести сказать, нет-нет, увольняйте прямо сейчас, всё равно скажу: вашим слушателям Лужников не хватит!

Когда окружную власть «укрепили» поумневшим, но не раскаявшимся коммунистом Д. Колпаковым, любителем Флоренции, Венеции, Милана, Рима, итальянских вин и охоты, Кристианыч принял в подарок от знакомого подрядчика карабин и уже через пару месяцев крался в маскхалате за Д. Колпаковым по свежим оленьим следам на западе Сахалина и рассказывал на ночевках у костра (с последующим двусторонним воспалением легких), как совер-

шенно удивительным, непостижимым образом меняется освещение венецианских площадей, если просидеть весь день неподвижно в одной точке, а не бегать за поднятым зонтиком рысистого экскурсовода, и что запах цветущей липы бьянжелло метауро всё-таки чем-то ему милей соснового аромата и оранжевого оттенка бароло. На шестидесятилетии Кристианыча префект произнес несколько внешне обыкновенных поздравительных слов, включающих «ветеран», «профессионал» и «в каком-то смысле наш мудрый учитель», и преподнес картину с окровавленной лосиной мордой, до этого три года висевшую в его кабинете, – Кристианыч, засопев, словно от внутренней раны, шагнул к Д. Колпакову, склонился и молча поцеловал ему руку; но Д. Колпакова свалил Бабец, бесцветный, измученный запорами и затянувшимся протезированием зубов, не знавший солнечного света росток из комсомольских подвалов, умевший говорить только написанное, лично от себя Бабец высказался только про каждого из восьмерых внуков (украсивших тут же всю наружную социальную рекламу в округе из-за своей исключительной и наследственной красоты) и хмельную и драчливую флотскую юность.

Кристианыч сфотографировался в выходной с внуками Бабца, фото увеличил, обрамил и поставил перед глазами, начал поддевать под рубаху тельняшку, неожиданно признался, что имел некоторое секретное отношение к становлению советского подводного атомного флота (а прежде любил по трудовой книжке доказывать, что до префектуры нигде, кроме Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР, ни часа не работал – коммунальщик, профи!), установил на подоконник модель подводной лодки 667А проекта «Навага», надушных совещаниях украдкой шептал префекту: «Продуть бы цистерны...» – и мог, вдруг как-то потемнев, посреди застолья стихами сказать: «В ней закон: иль живы все, или всем одна могила... Перед смертью в лодке все равны»...

Никто не останавливался, выскальзывали на волю. Глава управы Верхнее Песчаное Хериберт бросил на ходу:

– Я замумукался, – и убежал.

Фриц, начальник управления муниципального жилья, с кровавым полуослепшим глазом, говорившим о возобновившемся зашибании, со стремительной статью хищной птицы, – тоже мимо, погрозил только пальцем:

– Принято ли среди нормальных пацанов опаздывать? Видишь, подхватил где-то вирус – разрушает сосуды в глазу.

Эбергард легко соврал вдогонку:

– Почти не видно, – и крикнул нарядно-седому румяному главе управы района Смородино Хассо: – Хоть ты-то остановись! Поедем съедем что-нибудь. Возьмем рульку!

– Так ведь пост сейчас какой-то, – Хассо смотрел строго; все говорили: Хассо будет префектом, – я на посту. – Вдруг заменил лицо и со счастливым, перезревшим, замироточивым дружелюбием закланялся проползавшему мимо Кристианычу, кивая, кивая, соглашаясь с чем-то недоступным человеческому слуху, еще и в спину, и для надежности добавочно еще, потом только разогнулся и поскорее выдохнул, словно наглотался вони, и прошептал:

– Как-то на меня поглядел, а? Зря я с тобой... Кристианыч, ба-алин... Слышал? На Ключевой горе высадил елочками буквы БЕИ – Бабец Егор Иванович. Если глядеть с вертолета – видно. Или из космоса, – и неприятно привалился к Эбергарду. – Поехали к бабам. Есть тут место на Болотной, караоке-клуб. Девки реально красивые. Выходят в зал, садятся к тебе на колени. Почти голые. Трогают за все места. Это бесплатно. Выбираешь и идешь в отдельную там... Короче, шесть тысяч. На сколько хочешь.

– А потом лечись.

– Да че ты, опять?! – разозлился Хассо, ни на кого не обижался: недалеко видно обижаться, только на никчемного Эбергарда мог. – Они медосмотр проходят!

– Дома жена ждет, – Эбергард чуть не прибавил «беременная».

Хассо отвернулся и пошагал без прощаний, случайно отвернувшись от окружающих депутатов гордумы от «Единой России» Иванова-1 и Иванова-2, в обнимку двигавшихся по пустующему фойе (встретившись, депутаты ходили только в обнимку): к бабам Хассо почему-то не ездил один. Иванов-1, режиссер фильмов о милиционерах Советского Союза (сейчас под его именем серьезные люди приватизировали кинотеатры по правильным ценам), отрастивший кудри до плеч, на встречи с избирателями всегда приходивший пьяным и с худощавыми «помощницами» потрепанного вида, остановился расцеловать Эбергарда, наматывая шарф, объявил:

– Старик, надо увидеться! – но, кажется, не узнал.

Иванов-2 (он один никогда не спешил, щуплый и показательно бодрый, всегда с неподъемным портфелем, как командировочный, что в городе одним днем, между поездами) бережно подержал ладонь Эбергарда в своей, что-то добро высматривая в глазах:

– Медиамагнату доброго здоровья! Друг Эбергард, если кратко: я серьезно укрепился за последнее время и укрепляюсь еще. После выборов займу пост вице-мэра. Предлагают префектуру на выбор, но это, согласись, уже не мой уровень. После назначения мне потребуется команда. Могу рассчитывать на тебя?

– Конечно.

Всех проводил, всем улыбнулся, послал веселую эсэмэску Эрне. Выберусь на улицу, куплю арбуз, но не большой, средний. Всё, что он покупал из ягод и фруктов, они с Улрике не успевали есть; гниль и мошкара – приходилось выбрасывать. Покупал больше, чем надо. Еще не привык, что семья другая, поменьше. Что дочери нет.

Обошел, как дерево, словно парализованного посреди разбираемой выставки студенческих инноваций своего куратора зампрефекта Кравцова. У Кравцова умирала жена, уже долго, от болезни, не называемой вслух, называемой – «это», «гадость», «бьяка»... Кравцов возил жену в Чехию под какой-то чудо «гамма-нож» – но это, как докладывала главный бухгалтер Сырцова, «не дало результата», – теперь Кравцов начал о чем-то задумываться, словно замечая у собеседника что-то далеко за спиной, замолкал посреди проводимых им совещаний, словно отдельно для Кравцова выключали электрический или дневной свет и он стоял, прислушиваясь, трогая руками вокруг темную пустоту, и ждал, когда глаза хоть немного привыкнут.

Шаг и – на улице, и все расступились, отбежали, исчезли, и прямо перед Эбергардом, в конце постеленной для мэра дорожки из серого ковролина, оказался префект Бабец возле своей «вольво» со стеснительной мигалкой-прыщом; последним от префекта отгребал плешивый гнус Пилюс, что-то полусогнуто дошептывая, и поздно куда-то сворачивать. Иди к нему!

– Самая сладкая пыль – из-под колес машины уезжающего мэра? Так, Егор Иванович?

– Ты че там тер с Ивановым-2?! – Бабец, похоже, плохо проводил мэра. Поцелуя, похоже, не выпросил.

– Работаю с депутатами!

– Пока только тебе: Иванов-2 в городе своих вопросов не порешал, – на языке правительства «непорешенные вопросы» означали неоплату положенного, – в списке «Единой России» его не будет. Пойдет Лашкевич из «Торгснабстроя». Готовься там, по Иванову-2. Биографию посмотри, недовольных избирателей. И вот что, – Бабец наконец-то заорал, чтобы всем слышно, заелозив красной ручищей по крыше машины: – Ты почему отсутствовал на встрече?! Опять опоздал? А меня не дерет!!! Должен быть! Ко мне уже целыми делегациями ходят против тебя. То босиком по префектуре...

– Да это сандалиии такие...

– То главспецов управления здравоохранения трахает! Ты думаешь, на твое место желающих нет? Бюджеты осваивать – миллионы! – И бегло, словно об этом же, но еле слышно: – Ты когда мне с Гафаровым решишь?

– Работаем, Егор Иванович, – Эбергард понурился, давая понять: да, вот за это справедливо...

– Третий месяц! – прошипел Бабец и отомкнул машинную дверцу. – Я жду!

Эбергард нагнулся и смотрел, как вдоль ноги дрожаще взлетает комар, выбирая место для смерти, как немой огонек по взрывательному шнуру.

– Ты понял? Нашупал, как говорится, свой партбилет и – иди!

Кто? Звонила опять БЖ:

– Не бросай трубку! Во-первых, хочу сказать, ты – редкостная сволочь!!! Во-вторых, сколько денег ты дашь на день рождения Эрне? И когда заберешь свои вещи? Ты же купил себе большую квартиру – я про тебя знаю всё! И – не бросай трубку!!! – когда ты скажешь Эрне?

– Что я должен сказать?

– Что ты ее предал и бросил! Что никогда не вернешься! Эрна думает, что ты купил квартиру для нас, что мы переедем в большую квартиру и мы опять будем жить – все вместе!

Что-то лопнуло, какое-то сухожилие, и рука с еще кричащим телефоном отпала от головы и отогнулась куда-то подальше, в сторону, словно выпачканная чем-то трудноотмываемым, смолой. Сигилд кричала, неужели и до Эрны долетает всё, до парты, в соседнюю комнату? – и неожиданно услышал: тук-тук, сердце. Вот это да. А вдруг он теперь будет слышать сердце всегда? Вон, у матери уже несколько лет в голове пыхтит паровоз так, что будит по ночам, пыхтит да еще гудит – в плохую погоду.

Застыл у автомобильного окна, на укачивающем заднем сиденье, и не сразу понял, машина тронулась с места или по обочине двинулся дом, зажигались окна и шевелилась за шторами вечерняя жизнь. Сделать бы замечательным этот день, какой-нибудь годовщиной защиты диплома. Внезапной радостной новостью. Свалившимся на голову счастьем. Он вскрикнул:

– Остановите! – нет, обознался, просто похожая очень, но не Эрна, девчонка тревожно одна шла в тени под деревьями, и сверху на нее летели сухие заплатки, осенняя шелуха.

Похожая очень девчонка, но не дочь, много встречается похожих, а раньше не замечал. Эбергард уже не мог остановиться, представлял дальше: это Эрна, проехав половину города троллейбусами, впервые по-взрослому, одна, подходит как-то нелепо, самостоятельно одетая, наспех, словно торопилась сбежать из дома, пока Сигилд или этот урод вышли с собакой или в магазин, и говорит, измученная страхами не найти его и остаться одной, без денег возле устрашающих метрополитенных дыр, говорит, глядя в сторону, безнадежное, что не может свершиться даже по мнению ее, но последнее, что она еще не пробовала: «Папа, пойдем домой. Я не хочу, чтобы с нами вместо тебя жил... этот. Не хочу, чтобы мы с мамой жили без тебя».

Он раскроет рот, присядет, чтобы поближе, но это тот неудобный возраст – никак не попадешь, чтобы на равных, – или он нагибается? Или обнимает ее? и: я и так буду всегда с тобой – но Эрна, еще не дослушав, но правильно поняв всё:

– Не хочу так, пойдем! – и потянет его руку, не умея объяснить того огромного по силе последней надежды, что таится за ее простым «не хочу». Эбергард почуял с ледяным ужасом: и пошел бы домой, навсегда, все непреодолимое стало бы пеплом – вот в эту минуту.

Детский требовательный взгляд всё меняет, нестерпимо. Ты должен жить, должен служить, забыть про лично себя. Стараться быть лучше. Светлей. Не пугать унынием маленьких. Не повышать голос. Не говорить плохих слов. Теряешь право заглядывать «что там в самом конце». Поэтому никто не любит обсуждать с детьми свою жизнь.

Пробормотал «туда», и водитель Павел Валентинович повернул в привычную когда-то сторону, к дому.

– Вот здесь.

Он не хотел, чтобы его «тойоту» заметили у подъезда, дом – его дом, их дом, теперь его не дом – начинался с коммунальной комнаты в четырнадцать и восемь, потом отселялись соседи, и последняя, старушка Гусакова, приползала обратно через четыре дороги со своих

новых квадратных метров и стояла по два часа, вцепившись в палку, под прежним окном, всматриваясь в собственное неотделимое, но всё же как-то отделившееся от нее прошлое, пугая Эрну; соседям объясняла: забыла при переезде ковшик, а потом говорила: две иконки, но ни разу не попробовала, боялась подняться и позвонить в квартиру, сделанную «по евро» строителями подрядных организаций ДЭЗов Смородино и Верхнее Песчаное. Бедных, отстающих время вытеснило из дома, из подъездов не выползали уже старухи подышать, хотя железных лавочек наставили вдоволь – на лавочки ненадежно, на краешек присаживались только транзитные, следующие до ближайшего метро, всюду посторонние личности в белых бейсболках и черных рубашках, застегнутых до верхней пуговицы включительно; кошки больше не перебежали из-под машин в подвальные окна, выждав пересменку в собачьих прогулках; на каждом этаже требовательно покрикивало по ребенку; грузовой лифт подымал наверх упакованные знаки отличия среднего класса и спускал мешки строительного мусора и обломки перегоронок, невидимая девчонка из окна, заставленного розами, кричала вниз:

– Мальчики, не балайтесь! – хотя здесь, внизу, подальше от фонаря стоял один Эбергард, да справа и слева в костлявой тьме сиреневых кустов раздавалось змеиное, сдержанное, высвобождающееся шипение открываемых пивных банок.

Что он видел? В межшторную щелку в зале – вот Сигилд снимает белую водолазку, поправляет волосы, открывает шкаф. В его комнате копошится урод. Вот схватился за шторы и сдвинул потесней. Полез (тень нагнулась) что-то достать из-за спинки кровати – на этой кровати спал Эбергард, а еще раньше умирала бабушка Сигилд, а теперь спит урод, соблюдая приличия до свадьбы, – Сигилд показывает дочери «как должно», порядочные отношения: мы просто друзья, это просто ночует мамин друг, без его помощи мы бы не обошлись, он останется ночевать для того, чтобы не тратить время на дорогу, чтобы больше времени оставалось на заботу о Сигилд и Эрне, – одежда и обувь Эбергарда окружают его, египетские ракушки и образцы пляжного песка.

В комнате Эрны горит лампа, нагнувшись над столом. Дочери не видно. Может, читает лежа. Он ждал. А может, в ванной.

– Ненавижу, – получилось вслух.

Он чувл ненависть к Сигилд, к БЖ, как заложенность груди, жаркое, нарастающее предборморочное неудобство, как неутолимое желание избить, и удивлялся: как сильно. Ничего из рекомендованного глянец «цивилизованного и благородного». Непрерывное, полыхающее пламя-ненависть – всё, что складывалось из ежедневного кровотоечения «не вижу Эрны» и ежедневного страха «я ее потеряю». До, до всего, – когда еще Эбергард мог играючи представлять «когда я уйду», а вернее «если», – он представлял: сильнее всего будет мешать и звать дом, не сразу вылечишься. Ведь Эбергард не улетал на Огненную Землю, а вот – в семи километрах. Будет тяжело (предполагал так) от легкой возможности вернуться, вот же – его дом. Постель, место за столом, мир, собравшийся и застывший под очертания его тела. А оказалось: некуда, сразу обрушилось, и больше – невозможно жить ни рядом, ни далеко, а даже – под небом одним с БЖ – одному лучше бы сдохнуть! Сигилд не должна существовать, если жив он, или наоборот – вот что вонзалось и рвало сильнее всего.

Глядя в окно детской (вот опять: мог – не мог остаться, дотерпеть ради Эрны до смерти, или измениться, или Сигилд сделать другой, выскочить из карусельной игры «Как ты мне, так и я тебе, только больней», и стоило ли оставаться только ради Эрны), не знал ответа, отвернулся, победно прошептал: «Ведь это я бросил ее», – и не видел краешка малого, куда бы причалить назад, даже ветки – вцепиться! Сигилд – сплошь не его... Ничтожная, неблагодарная, невыносимая!!! Она была другой? И он остановился под волнами ветра, словно перекачивалась горстка пыли и вдруг легла, замер, испугав спешившую следом прохожую, и поднял голову – бетонная плита дома мощно торчала из земли, будто текла вверх, как порог, крыльцо, как ступень к темно-синему плешивому туманными нашлепками небу в редкую звездную крапинку.

Ветер мотал встречных и бесприютно метался по дворам; что он делал вечером? В основном ждал сообщений от Эрны. Решил сам не писать. Посмотрю, когда же она про меня вспомнит. И боялся убедиться, что – никогда она сама не вспомнит. Ребенок. Нет, надо писать самому. «Спокойной ночи, девушка». Не ответила. Написал и Сигилд. «Предлагаю все вопросы, связанные с финансированием, обсуждать по мэйлу или смс». Нет ответа.

– Эрна уже подросла, – сказал он Улрике, – не знаю, что ей надо. Боюсь на нее обидеться.

Еще он боялся обидеться сразу на всех и однажды уснуть в одиночестве.

– Ты должен бороться. Она твоя дочь. Почему ты видишь себя только в плохом будущем?

Если бы я видел себя в хорошем будущем, я бы не выбрал тебя. Только Улрике умела объяснять всё, абсолютно всё происходившее так, что он выходил победителем.

Да и как сможет Эрна любить двух людей, ненавидящих друг друга?

Улрике он увидел в коридоре управления здравоохранения – удивительно красивые ноги, удивительно тонкая талия, белокурые волосы, – шел следом, разглядывал и думал: таких не бывает, такие красивые не работают на государственной службе, сейчас обернется и окажется: или девушка сорока восьми лет, или уродливое лицо, или нет груди... Девушка осталась у дверей заместителя начальника управления по детству и обернулась, ей было двадцать один, училась на вечернем, и всё в ней оказалось так, как не бывает, так, что Эбергард испугался.

– Если вечером, раздеваясь, обнаружите у себя на бедрах покраснения кожи, не пугайтесь. Это я своим взглядом натер.

– А-а, так это вы Эбергард. Меня предупреждали.

Вот и выборы скоро: в почтовые ящики по утрам протискивались листовки, Эбергард, выходя из дома, все выбросил, свое изделие прочел:

«Мы, гомосексуалы, ветераны обороны Белого дома в августе 1991 года, призываем всех уважаемых господ выступить против выдвинутого “ЕДИНОЙ РОССИЕЙ” ЗНАМЕНИТОГО РЕЖИССЕРА, НАРОДНОГО АРТИСТА СССР БРОНИСЛАВА ИВАНОВА, ПОДДЕРЖИВАЕМОГО МЭРОМ. Мы призываем вас отдать голоса Михаилу Задорнову из партии “Яблоко”. Поддержать Задорнова – значит поддержать подонка и гомосексуала Ходорковского, воровавшего русскую нефть и содержавшего “Яблоко”. Поддержите Ходорковского – проголосуйте против ИВАНОВА!!!» И кивнул дворнику, втыкающему лопату под кучу листьев:

– Ну что, подсыпало халтурки?

В машине понял: давно не спускался в метро, года четыре. Взглянул с сочувствием в переполненный троллейбус, как на оставленную родину.

У банка на углу префектуры уважительно тихая очередь ожидала открытия. Мимо косолапо прошли пахнувшие потом инкассаторы. Старики, собравшись в круг, подслеповато согнулись над квитанцией, разбирая, на сколько подняли на холодную воду, и обсуждая мэра:

– От родников в Птичьем себе трубу протянул. Тем родникам пятьсот лет!

– А разве он в Птичьем живет?

– А где ж еще?

– Ты почитай его декларацию, в газетке была. Он нигде не живет! В городе площадей не имеет.

– Живет, небось, в квартире с подселением.

– Бомжует! Да еще жену кормит.

– Медком.

– Написал: корову держит.

– Какую корову? Слона!

Из банка Эбергард пошел к куратору – зампрефекта Кравцов отвечал за информирование населения – отпроситься до обеда и отдать отчет.

Кравцов что-то собственноручно калякал, измученно вздохнул:

– Вот черт, до сих пор не привыкну «плenum» с маленькой буквы, – снял и отложил от себя очки, как мертвую стрекозу. На столе вокруг свадебной фотографии с теперь умирающей любимой прибавилось иконок и пузырьков со святой водой, правой рукой Кравцов схватил четки.

– За август, – Эбергард положил пакет из «Седьмого континента» на соседний стул. – За минусом, – Эбергард нарисовал карандашом на листке для записей 7,5 %, показал Кравцову и шепотом: – За обнал.

Кравцов кивнул, отобрал бумажку, порвал в снежок, просыпал в урну и ткнул в свои записи:

– Из департамента, видишь, пришло, что мало мы как-то способствуем малому бизнесу. Какие-то новые формы... Может, пособие какое напечатать? Массовым тиражом? Типа «Как организовать свой бизнес». А?

– Можем. Прямо пошагово. Шаг первый – «Устройся на работу в ФСБ».

Кравцов вдруг спросил:

– Что такой черный ходишь? Все уже замечают. Я, конечно, так, краем уха... Но уныние – грех, – Кравцов так дергал четки, будто старался порвать, что-то свое себе представляя, – надо жить! От тебя только зависит, что пускать внутрь, а что не пускать.

– Михаил Александрович, – Эбергарду показалось: минута подходящая, – ремонт надо в новой квартире... Мучаюсь на съемной. Молодая семья. Может, найдется возможность кинуть через ДЭЗ «Верхнее Песчаное» хоть бы миллиончик, провести как капремонт квартир ветеранов. Остальное уж сам буду наскребать. Очень буду благодарен, – что означало двадцать процентов от суммы.

– Конечно, друг. Поможем большой любви, – Кравцов заморгал и вытер пальцами, указательным и большим, заблестевшие глаза – от переносицы к краям. – Но с главой управы ты сам вопрос порешай, – еще десять процентов. – Это Хассо? По-дружески тогда, – пять.

Пресс-центр занимал три комнаты первого этажа, справа от буфета. Эбергард смахнул в сторону заявление курьера «Прошу выдать мне материальную помощь на покупку ж.д. билета» и взглянул в компьютер – парень, чье лицо отражалось в мониторе, недавно подстригся. Неужели у него черное лицо?

Когда Эрнэ вырастет... Напомнит: ведь мама тебя любила. Что ответит он? Ответит: любила... Когда любят, говорят: решил уйти – уходи. Но я всё равно люблю и буду любить тебя больше всего на свете, и годы ничего не изменят, вот на эту стену повешу твои фотографии, вот у этого окна я буду ждать твоего возвращения, смотреть на эту косую асфальтовую дорожку – от троллейбусной остановки, пока не умру; буду узнавать среди ночи твои шаги на лестнице и каждый день говорить дочери: как бы и с кем бы он ни жил и сколько бы ни давал денег, твой отец – самый лучший на белом свете. Вот любовь, а не когда через четыре недели приезжает и подселается «мамин друг».

Эрнэ напомнит еще: но ведь и ты не любил ее. Это ведь будет ее волновать? Что он тогда... Ответит: неважно. Если бы мама любила меня по-настоящему, я бы вернулся. Даже по-другому: я бы не ушел! Так убедительно даст ей понять (Эрнэ будет важно узнать это), что родители действительно не любили друг друга – в расставании не было ошибки. Эрнэ вдруг спросит: а я? Что тогда я?

Ты. Он обнимет ее. Хотя девочке, когда она выросла, может быть неприятно, когда ее крепко обнимает и пытается прижать к себе пожилой, пожеванный человек. Но когда он потянется к ней и Эрнэ обязательно шагнет навстречу, он обнимет ее и прошепчет: Эрнэ, я любил тебя и тогда, когда ты была облачком, когда ты была глазастой гусеницей, ворочалась в одеяль-

ном коконе и беззубо зевала, и теперь – когда ты стала яблонькой. Я буду любить тебя всегда. И если там, в этом черном «там», обрезающем мою жизнь лезвием «там», есть хоть что-то – я буду, на самом краешке, на самом входе, я там ничем не буду заниматься, я буду только сидеть и ждать тебя, чтобы сразу подхватить, еще на лестнице, как из рук медсестры в роддоме, чтобы на миг ты не успела подумать, что одна, что отца рядом нет.

Скоро, наверное, они сядут в кафе – где еще? – Эбергард посмотрит на любимые, ровно изогнутые, словно нарисованные брови и приготовится сообщить: знаешь, наверное, мы с мамой разведемся (здесь он не допустит паузы и дальше заговорит весело и на подъеме интонации), но для тебя не изменится ничего (но для тебя изменится всё) – что-то дрогнет, потрескается, прольется, опустеет и высохнет глубоко внутри, неслышно взорвется в любимых зеленых глазах, и через десять лет, открывая свою душу кому-нибудь (сколько же на свете скотов, но пусть ей встретится добрый, порядочный!) у какого-нибудь окна, наполненного ночью, она скажет: ну вот, а когда мне было одиннадцать лет, родители развелись. И всё кончилось. Жизнь оказалась совсем другой. И кивнет: «вот так-то», чтобы больше не говорить, чтобы не заплакать.

Мы с мамой решили развестись, потери невеликие: не смогу поднять упавшее одеяло и накрыть тебя, поцеловать спящий висок сквозь влажные прядки, освободить медвежонка из самых ласковых на свете объятий, не услышу (Сигилд не дозовешься) «Посиди со мной», когда страшно в темноте; держа за руку, не расскажу сказку какую-нибудь – вот и всё; да и Эрн потеряет всего лишь одну сказку «любили друг друга, жили долго и счастливо, и умерли в один день», никто не скажет ей: так бывает, так должно быть у тебя, у тебя так и будет – как у папы с мамой.

– Привет, привет, солнце наше появилось, – художник Дима Кириллович, как всегда, наперекор секретарше, отстаивая: у художника особые отношения с первыми лицами – напрямую, ворвался в кабинет, пробежка и – застелил стол свежими плакатами: – Смотри, как по противопожарке получилось. Как? Тут я мрачности подпустил... Схулиганил, а? И стихи свои добавил, ты не против? Вот к этому: «Чиркнул спичкой, закурил, лег в постель, забылся. Правый, как и левый глаз, навсегда закрылся!» А?

– Здорово, – Эбергард думал: где купить спиннинг?

– А вот «Для вас малыш – алмаз, икона. Не спи, мамаша, бди, отец! Замешкаетесь, как ворона, подпалит что-нибудь юнец!» Скажи: пойдет?

– Пойдет. – Где он видел спиннинги? На «Ботаническом саду» точно, в «Рамсторе» целый этаж, но туда пилить...

– Добавишь хоть сорок долларов за подписи? – Дима Кириллович принужденно захохотал, свернул плакаты и с чем-то приготовленным уселся напротив: жилистая шея, подвижное, изнеможенное лицо, обширная лысина, творческая седая борода, скрывающая желтозубый рот с двумя досадными прогалами, – Дима носил одну клетчатую рубашку по году, пока с воротника не начинали свисать нитки, все деньги тратил на дочь, только и разговоров: Тамарка, Тамарка, поздняя, долго ждали, жена не работала, развивая невероятно одаренную, по многочисленным сомнительным свидетельствам, девочку. Дима глядел на Эбергарда безумными, смеющимися глазами и походил на разжалованного за педофилию священника.

– Есть пять минут? – И не дав ответить: – Посоветоваться. Сам не могу понять: имеет ли мне еще смысл у тебя работать? – Это Дима спрашивал раз в месяц. – Я ведь не какой-то мальчик-верстальщик, примитив... У меня выставки были в Узбекистане, мои картины в галереях. Я тут послал смеху ради свое резюме – ты не представляешь, во, – он показал свою «Нокию» за восемьсот рублей, – звонят каждый день! В корпорацию зовут арт-директором. И в рекламу. И зарплаты – в четыре раза больше, не вру! В шесть! Ты чувствуешь, как Россия поднимается? Всюду запах денег! Вот и я почувствовал. Мастера, профи должны жить по-другому. Даже если

просто в провинцию уехать сельским хозяйством заниматься, знаешь, как можно на сахаре подпрыгнуть? А я? Ты видишь, на чем я езжу? Тамарку еще на английский записали и в танцевальную... Педагог сказал: я сорок лет обучаю, первая девочка-феномен с такой пластикой, «драматическую ситуацию переживает не по-верх-ност-но», Тамарка моя! – Дима захохотал звуками «кх-кх-кхы», раскачавшись от радости, словно впервые это услышал, а не сам только что сказал.

– Ну, напиши заявление об уходе.

– Да вот и я такое помыслил, – протянул Дима Кириллович, хитря, дразнясь, что-то пробуя: да? нет? – Но подводить-то тебя не хотелось. Столько лет вместе... Сколько тебя выручал. На мое место человечка-то не так-то просто, это я как раз очень понимаю. Да еще на такие деньги. Я ведь с идеей, у меня с Богом канал. Видишь, от меня свет? – протянул перед собой обе руки, вывернув к Эбергарду желтоватыми покойническими ладонями, стеснительно подержал и убрал. – И у тебя тоже – канал, с Богом. Но у тебя есть еще и другие каналы. Вот ты послушай, что тебе сейчас Бог говорит? Молчит, видно. Меня, в принципе, всё здесь устраивало. Но деньги... Маловато, ты пойми. Долларов, думал, триста еще... – и как-то испуганно, через силу добавил: – четыреста. Небольшие, извини меня, для тебя расходы. Дела-то идут, разве не вижу? Квартира у тебя новая, слышал. Так? – Помолчал. – Ну... Как решил? – Еще помолчав: – Но я тебя не брошу. Звони. В плане совета. Не обижайся, просто время новое такое настало, чую: можно быстро вверх пошагать, потребовались большие идеи! – слышишь? Шелест знамен! Уже не слышишь. Уже где-то... Благодарю за сотрудничество! – В пособиях «Как правильно уволиться, прежде чем начать новую и богатую жизнь» Дима, видимо, прочел, что увольняться надо именно так – крепко и покровительственно пожав бывшему работодателю руку.

Молчание – всегда более сильная позиция, Эбергард молчал.

В дверь поскреблись, как мелкоживотными когтями, где-то над полом, внизу, и засунулся, словно столб косо повалился, в щель высоченный, пучеглазый, дерганный, зомбированный господин, но не упал, а на цыпочках подкрался к стулу, смотря наверх! – вбок! – на пол! – что-то мелко клюя, поднимая брови, удивляясь, дуя полноватыми губами и сразу после производя напряженно улыбающуюся гримасу, одаряя запахом типа «Кензо», показывая правильный костюм и портфель добротной кожи.

– А где же моя секретарша? – про себя Эбергард добавил еще два слова матом.

– Пошла, насколько я понимаю, порезать вам еду. – Зомби шептал несвободно, с некоторым дополнительным усилием и необъяснимыми паузами, что свойственно пожизненным отличникам, прирожденным холуям или заикам, скрывающим до поры дефекты своего речевого поведения; с его позолоченной визитки глядела быстро испаряющаяся еще в глазах, не доходя до памяти, фамилия однородная «Степанов», «Сидоров», «Савельев», водруженная на броненосец слов с выделявшимися «стратегия», «фонд», «консалтинг», «и развития», и особенно «ветеранов» чего-то там, и в углу щит, украшенный плохо различимыми элементами, но с несомненным впереди танком. – В будущем году выборы, – напряженно заглядывая над подоконником, пропищал зомби, осмотрел пальцы на правой руке, на мгновение на его лице отразилась гримаса человека, услышавшего «Пожар!!!», а затем он совершенно плотно сомкнул веки и задышал спокойно-спокойно. – Скорее всего, – он проснулся и задрал голову на потолочные лампы с надписью «Сделано в Венгрии», – я возглавлю штаб одного кандидата.

– Кто вам заказал пропуск в префектуру?

Зомби «Степанов» подмигнул и дернул плечом. И добавил:

– Мне сказали: есть такой Эбергард. Многое от него зависит.

– Я здесь никто. Всё зависит от мэра. Вы с мэром свой вопрос порешали?

– Видите ли, – зомби точным движением расстегнул портфель, – мой клиент – серьезный человек и занимает заметный пост в одной, скажем так, – пропел, – структуре. Силовой. И цель его участия на выборах не избрание, а... – он осторожно, как тикающее устройство, извлек из кожаных теснин портфеля подарочный пакет с белыми плетеными ручками и переместил Эбергарду на столу, мельком показав: внутри – «Нокия» в титановом корпусе, и запнулся, настороженно прикусив губу и с недоверием вглядываясь в Эбергарда, будто впервые задумавшись: а кто это, собственно?

– А в структуре этой намечается какая-то проверка. Недружественная, – предположил Эбергард, подтянув к себе пакет за ручки. – И одному серьезному человеку... вот из этой структуры... хорошо бы на время проверки залечь в отпуск... связанный с регистрацией его кандидатом в депутаты гордумы, – Эбергард загрузил знак уважения в нижний ящик стола, к теснившимся уже там близнецам, двоюродным, старшим и младшим собратьям; он следил, чтоб ничего съестного, а то развел как-то раз...

Каждому произносимому, колющему в челюстной нерв слову зомби жмурился и боязливо кивал, только упрашивающее поднимал руки: т-ти-хо! тише! – и вскочил:

– Я только познакомиться. Прошу простить, что без звонка. Не повторится.

– Поможем ближнему, – серьезно и просто сказал Эбергард. – Хорошим людям надо помогать. Звоните.

РУБОП Восточно-Южного округа сидел на 4-м Проектируемом проезде в двухэтажном бывшем детском саду, отремонтированном на средства благотворительного фонда «Законность, право, правопорядок и социальная ответственность бизнеса». Начальник РУБОПа Леня Успенский, или Леня Монгол, сидел на больничном, поэтому Эбергард застал его в спортивных штанах, красной майке «Манчестер Юнайтед» и пляжных шлепках, насунутых на белые жаркие носки, – Леня стоял напротив гаража во дворе РУБОПа и жал на пульт, пытаясь, видимо, уже не первый раз опустить непокорявшиеся рулонные ворота.

Ворота, подергавшись, застревали в метре от земли, Леня покрыл техническое удобство матом и заново ткнул в пульт – ворота с натужным поскрипыванием поднялись.

– Привет. Подержи, – Леня отдал Эбергарду пульт и полез в гаражное, до краев, как тюремная посылка, забитое нутро, поплотней укладывать разнокалиберные коробки с микроволновками, автомобильными телевизорами, суперпылесосами, компьютерами и ящиками вина, окружая всем, что помягче, короб с домашним кинотеатром: вонюче пахнувшей кавказской буркой, перчатками для бокса, подушечками с вышитыми петухами, прозрачными упаковками с пледами. Под самый потолок, в щели он пихал колчаны с клюшками для гольфа, лыжи, ракетки, перекачивал и тяжело подымал напольные вазы, вминал поплотнее ковры – выбил в бешенстве куда-то на хрен баскетбольный мяч, скатывавшийся с самой верхотуры и дважды давший ему по лбу, – поприжимал плечом добро, примерился: нигде не выступает? – еще бережливо поднадавил и велел Эбергарду:

– Ну теперь-то – попробуй!

Теперь-то ворота, похрустывая, застревая, задевая корябающиеся сокровища изнанкой, но всё-таки доехали и – замкнулись.

– Ты что, переезжаешь? – спросил Эбергард.

– День рождения был. Два месяца назад.

В кабинете Леня с кем-то приторно-улыбчиво переговорил по мобильнику и, закончив, зафиксировал в настольном календаре некий цифровой параметр, дважды обведя его фиолетовым овалом:

– По-ня-то, – и рассмеялся с удовольствием.

– Спиннинг тебе принес, – Эбергард показал коробку и прочел с упаковки, хотя заучил дорогой, читал, чтобы спрятать расположившееся на лице напряжение: – Шимано. Кардиф. Монстер. Японский. Хороший?

– Вроде на лосося... Зачем ты тратишься-то?! – взвешивающе качнул на ладони мобильник. – С утра одни звонят – заводите дело и сажайте. А вторые звонят: закрывайте дело и отпускайте. Начали с десятки, – Леня прижмурился, – уже двести.

– Ты можешь меня послушать, две минуты...

– Я на больничном!

– И не глядеть на телефон!

– Дай тогда спиннинг. Да я тебя слушаю! Смотрю спиннинг и тебя внимательно слушаю!

– В управлении культуры есть такой Гафаров. Помнишь, при Д. Колпакове там работала начальником Земская? Обыкновенная голодная баба. И вот она сплелась с этим азербайджанцем в безумной страсти. И посадила его на дирекцию капитального строительства. Основные деньги туда, понимаешь? Всякие там ремонты музыкальных школ, стройка. Подготовка к зиме... Бабец, когда уволил Земскую, поставил Олю Гревцеву и начал как-то...

– М-да... Оля Гревцева, это – да-а, – Леня отложил рыболовную снасть, – уютная такая баба... Как наденет свое декольте... Правда думаешь, они... с Бабцом?

Не могу. Потный, красная морда. Зубы страшные. И Оля.

– Оля поговорила с Гафаровым. Типа надо как-то перестроиться. Он ее послал. Типа в департамент и в город он заносит, а с округом вопросы решать не будет. Кто бы с кем бы ни трахался в кабинете префекта. Бабец психанул: надо разорвать!

– Вот оно... Ну, а что. Занимайтесь...

– Три месяца занимаюсь. Накопали кучу материала. Ничего особенного за Гафаровым нет. Только незаконное хранение охотничьего ружья в шестнадцать лет. Возбудили хренову тучу дел по налоговым преступлениям, прихватили главного инженера – через него шел обнал. А он уперся и азербайджанца не сдал. Бабец через день звонит: когда?

– За обнал сейчас особо не раскрутишь. Хороший спиннинг. Небось, штуки полторы отдал? – И Леня после брезгливого выдоха, освободившего его от услышанного, пустился в обсуждение язей, температуры нижнего слоя Черного моря, ловли крабов в иле и хариусов, размеров и цвета речной форели. – А на вкус рыба как рыба... Ну вот, закинул я свою – самую тяжелую блесну! – и она так: бултых! – думаю: всё, зацепило, а гляжу – ведет! Щука. Килограмм на десять, – он развел руки с таким усилием, словно силился обхватить земной шар.

– Помоги решить, – попросил Эбергард.

– Как? – удивился Леня и потряс разведенными руками.

– Надо как-то.

– Надо. Надо! Тебе надо? Префекту? А где здесь Бабец? – Леня перевернул бумаги на столе, заглянул под стол. – Кто будет соответствовать? Вы там кушаете, а как дерьмо вынести, зовут: Леня! Обратись к территории, пусть его закопают. Нашли, понимаешь, пожарную команду, – и показательно насупился.

– Бабец тебе не за хрен двушку дал?

Леня молчал. Но поднял брови, словно что-то припоминая.

– Ты че, слово «совесть» пишешь с ошибками? Фиктивно развелся, на очередь тебя в неделю поставили и через месяц дали двушку на Тимирязевском. Не захотел панельку – дали в монолите. На ремонт денег префектура скинула? А два машино-места в собственность в прошлом году. Было?

– Ну было.

– Ты Бабцу даже «спасибо» не сказал! Даже не позвонил!

– Не сказал, – слабо откликнулся Леня. – А ты точно знаешь, что Бабец с Гревцевой? Я прям не могу...

– Сырцова видит, какой Оля выходит от префекта. С какими губами. А Сырцова специалист.

– Вот это да! По коньячку?

– Не, я поехал. Вот тот, – Эбергард оставил папку из картона, – человек.

– А кто он? – спросил Леня.

– Я думаю, опасный рецидивист.

– Ну и я так думаю.

Товарищи встали и обнялись на прощанье и, размыкая объятья, одновременно глянули за окно – во дворе из подкатившего БМВ Х-5 вылезли два худощавых мальчика, похожих на аудиторов или биржевых аналитиков, – белые рубашки, остроносые туфли, сонные послеобеденные движения. С заднего сиденья они выволокли согнутую кавказскую личность в черной коже. Личность, в полуприседе, словно надломленная посередине, посеменила, куда указано, держа перед собой соединенные наручниками ладони – так носят воду или переносят птенцов в безопасное место. Мальчики, о чем-то беседуя, обмениваясь улыбками, двинулись следом, по очереди, почти не взглянув, куда именно, ударив личность с небольшого размаха ногой в бок.

– Поколение, – вздохнул Леня. – Кого ни ткни – папа генерал. Я им не начальник! Что за люди? В прошлом году лучший стажер за первый же месяц заказал двадцать тысяч. В этом году меньшее, что заказывают: полтинник. Берут у всех. Держаться не могут совсем. К нему приходит совершенно! незнакомый! человек! говорит, отмажь меня – дам полтинник. И тот тут же выходит, слышишь, садится к нему в машину и берет полтинник, хотя знает, что не отмажет! Куда мы с такой молодежью придем? Ты веришь, – они спускались по лестнице, – я помню времена, когда если в сводках – по всему Союзу! – появлялось, что кто-то где-то видел у кого-то пистолет, – событие на всю страну! Весь СССР искал этот пистолет! Куда мы идем? Какие-то совсем страшные времена подкатывают! Бабца-то снимут? Лида, говорят, лютует... У тебя не болит печень? А что болит? А душа?

Он подумал: если бы Сигилд осталась с Эрной одна, заболела и еще бы уволили ее... Тогда (он представил себе темную квартиру, Эрнэ несет матери таблетки на блюдце и воды запить) он – он, он обязательно бы ее окликнул, протянулась бы рука. Прости. Вот так могло, это бы могло, да.

Эбергард забыл всё, что их соединяло, но это не означало, что теперь их не соединяет ничего, что ничего не соединяло – никогда, просто не думал про это никогда. Про месяцы, про календарные измерения, когда он любил и был (а не пытался, изображал, не был) вот тем чистым человеком, что собирался сделать Сигилд счастливой, дать ей много больше, чем она сама сможет и осмелится захотеть. Построить их дом. И опять видел то, что запрещал видеть себе, но приходило само, словно «муки совести» и «совесть» существовали: когда поженились, ни машины еще, ни денег, ни Эрны и особенно – ни мозгов, он решил строить «загородный дом» на шести сотках глины в двух часах поездом, не нанимая, сам, и дочищал в тот вечер (он видел всегда именно один этот вечер) канаву под фундамент. Опаздывали на автобус и могли поэтому опоздать на электричку, и, чтобы скорее, – Сигилд взялась помогать, выбрасывала руками комья земли из канавы, двигаясь ему навстречу; работали молча, у него даже не было сил крикнуть: «Не надо!» – но они всё делали, как один человек, не говоря, не взглядывая друг на друга, дышали одним ртом, одно сердце гнало кровь для двоих – и успели, и на автобусной остановке к Эбергарду подковылял нанятый садоводческим товариществом сторож в розовой панаме, сторож шел в киоск за водкой, остановился, показав Эбергарду большой палец: «Вот такая у тебя жена! Хорошо вы смотрелись вместе. Сразу видно – крепкая будет семья. Таким всё нипочем» – вот что режет, вот оттуда, из того вечера, словно ветром, словно речной запах, приносит память о нежности, жалости; но когда потребовалось для спасения что-то

вспомнить, видно, вспомнилось что-то не то; всё же кончается не сразу, но когда кончилось, когда оглядываешься: что теряешь? – кажется: а ничего уже не теряешь, нечего – это потом начинает, нарастая, сперва тихо болеть, и после каждого приступа уговариваешь себя: самое, самое уже прошло, заранее жмурясь от предчувствия – еще большего.

Он позвонил Эрне из возлересторанной толпы:

– Назначаю тебе свидание, девушка. Послезавтра в семь вечера у подъезда. Поедем развлекаться. Придешь? – Зачем ты спрашиваешь «придешь?» – ты не уверен? Если зовет отец, она не может не прийти!

– Да, приду, – как-то сухо ответила Эрна: всё кажется, всё теперь выдумывается. – Пап, а ты будешь давать нам с мамой больше денег?

«Нам с мамой»!

Говори спокойно.

– Мы с мамой сами обо всем договоримся, – спокойно, но с каким-то рычаньем, опухающим горлом выдавил он.

На него оглянулись, и Эбергард понял – кричал. И никуда он теперь один не ходил. Всюду – вдвоем с тенью...

– Вас ожидают?

В ресторан он приехал последним: Хериберт, Фриц и Хассо уже сняли пиджаки и читали меню. На кухне над злым пламенем повар с людоедской статью чиркал ножом о нож, оценивающе поглядывая на ужинавших.

Подкрался, помахивая букетиком ложек и вилок, тощелищный официант с оттопыренными ушами, уже заранее улыбаясь. На запястье его виднелись часы размером с небольшой будильник, не помещаясь в рукав, бейджик на груди представлял по фамилии – Немухин.

– А где Мухин? – строго спросил Эбергард.

Заказали салат казачий из баранины с редькой, пельмени из оленины в хлебном каравае и карпа на сковороде. Посреди стола в лужу свекольного соуса лег поросенок в кепке из половинки красного перца и глядел на мир глазами-оливками, обложенный апельсиновыми колесами и розетками из редиски.

– И пришлось купить смокинг и туфли в Италии, а потому, что на капитанский бал только в смокингах, – Хериберт отчитывался за круиз: Венеция, Флоренция, Сицилия, Дубровник, Пиза – и вдруг пихнул Эбергарда в плечо: – Хватит, с кипящим чайником в голове ты не проживешь! Поехали со мной на Афон – очистишься!

Эбергард смотрел в зеркало – на диванчиках за его спиной потрепанный пузатый мужик с седым хвостом разъяснял испуганно соглашавшейся, сильно накрашенной спутнице, похожей на внезапно овдовевшую пожизненную домохозяйку:

– Наши самолеты! Могут подыматься в стратосферу. И лететь без дозаправки четырнадцать часов. Но каждая дозаправка – это риск! А с Венесуэлы подлетное время сокращается втрое! И двенадцать крылатых ракет под крылом... Вы что, не знаете, что наши главные месторождения на Чукотке... Какие лечебные грязи в Южной Осетии! Нам осталось только: вложиться! в инфраструктуру! Абхазии!!! – Ел мужик хорошо, было видно: не ему платить.

– А? – Эбергард прислушался к Фрицу, начальник управления муниципального жилья возил пальцем по столу:

– А если рисовать человека менструальной кровью, это означает сильнейший приворот!

Отклонился подальше от разговоров, чоканий, спортивных трансляций, грохота, сопровождающего поглощение пищи, и накрыл телефон ладонью – звонила мама:

– Сынок, Сигилд так со мной разговаривает, что я плачу. Как же так получилось. Ведь вы так подходили друг другу по гороскопу. – Никто не полюбит сильнее, чем мама, и Эрна вырастет и будет любить своих детей, а не отца. – Не разберусь с дозировкой ципромила.

Там написано один двадцать пять за день, за три раза, а таблетка ноль пять, не могу разломить... И голова такая плохая, давление с утра померила – сто сорок, сахар почти сорок, а пятно на носу сегодня очень хорошо видно – или на погоду? В сердце боль не колющая, а тупая, от лопатки идет...

Он поднялся, попятился к гардеробу, глядя за окно (под каштаны из ресторанной кухни вышла женщина в синей безрукавке и покормила из пакета трехногую собаку, заодно что-то ей рассказав: такая моя жизнь), и, дослушав маму, поморщился (так жгло), куснул язык, но всё-таки пересилил себя и позвонил Сигилд:

– Во сколько я приезжаю первого сентября?

– Первого сентября Эрну поведем мы, – и Сигилд отключилась.

– Я даю положительную энергию, снимаю порчу, – объяснял Фриц, прерываясь на внезапный смех и оглядывая друзей влажными от любви глазами, и поглаживал нетвердой рукой брови, правую, левую. – А то приходит Стасик Запорожный из «Стройметресурса», весь потерянный: со всеми соглашаюсь... «Единая Россия» миллион попросила на велопробег ветеранов – даю. Бабец велел часовню на участке поставить – и опять «да»! Я говорю: может, тебе что подарили недавно? Точно! Крест с бриллиантами, на шее ношу. Вот! Вот поэтому голова-то твоя теперь всем и кивает! Крестик забрал, в полиэтилен обернул, в сейф запер и свечку зажег, вокруг Стасика поводил. Вчера звонил: вроде полегче стало!

– Ты это... со Стасиком поаккуратней, – и Хериберт особо улыбнулся. – Он же из... этих.

– П-понял, – пробормотал Фриц и озадаченно засунул в рот пельмень и помахал вилкой. – Да я и сам знал!

– Ребята, ребята, – Хассо сгреб ближайших за плечи, и все уже поняли о чем. – Поехали пописюнимся с телками!

– С телками... – Хериберт покраснел. – Я прошлый раз смотрел: совсем молоденьких выбираешь! Скоро до школьниц дойдешь.

– Это моя мечта. Возбуждает даже знак «Осторожно, дети». Дам объявление в газете: «Москвич, без вредных привычек, познакомится с серьезными намерениями с женщиной, у которой есть красивая старшекласница дочь с большой, упругой грудью».

– А меня возбуждает, когда в прогнозе погоды говорят: «Столбик термометра поднима-ается»...

– А я видел объявление: «Массажистка. Красный диплом. Белая кожа»! А ты чего молчишь?

Эбергард показал, что от подступающего смеха он подавился чесночной гренкой, отдышался и подхватил:

– А я посмотрел лоты аукционов органов власти. Самый распространенный – «Работы по устранению сухостоя»! – И первым захохотал. – Все работы – только через аукционы. Коррупции не будет. Хассо, а какой у тебя самый коррумпированный орган?

– А я вот сидел и глядел на дорогого нашего друга Эбергарда, – взялся за рюмку Хериберт, заново особо улыбнувшись. – Сидит он, и смотрит на нас, и ест, как мы...

– И пьет!

– И пьет. И ничем вроде бы не отличается... А с душой своей совсем, совсем он не такой... И что он на самом деле про нас думает?

– За это мы его и любим! За Эбергарда!

– За нашу совесть, – Хассо выпил и, проиграв отрывке, огляделся: что бы такого... сожрать?! – Но я так и не понял: на хрена ты развелся? Не мог так трахать Улрике?

«По кофе» и – закончили, сбросив деньги Хассо; тот (усилив глаза очками, которые носил редко, переживая – очки старят! и так седой! – а Хассо не собирался стареть, плавал, бегал, качался и в журналах всегда читал о продуктах, укрепляющих потенцию) словно с удивлением рассмотрел чек, сумму делил на четыре и высчитывал чаевые не умолкая; друзья двинулись

разбирать плащи, привычно, как дети, подставляя руки гардеробщику. Эбергард отказался от помощи, но сунул гардеробщику денежную бумажку – тот вышел за гостями, изображая провода, сунул бумажку в нагрудный карман и еще заглянул следом, отслоив карман большим пальцем, словно проверяя: удобно ли там денежка устроилась? Водители, также сдружившиеся за эти годы, расходились и рассаживались, хлопали дверцы, фары расстилали под ноги свет. Фриц задержал Эбергарда и трезво спросил:

– Что там у тебя? – Из четверых – старший, и вел себя так же, и всегда спрашивал в упор, неприятно, почти касаясь – нос к носу, еще больше втянув впалые щеки и подвыпучив словно воспаляющиеся от водки глаза.

– Не дает Эрну отвести первого сентября в школу. Каждый год я водил. А теперь она с уродом. Появился какой-то урод.

– Набей ему морду, – Фриц отмахнулся: это мелочи; и – рыкнул: – Сделай другие глаза! Не должен ходить с такими глазами. Ну, не сложилось с Сигилд, бывает. Треснуло и – пошли рвать друг друга до кости. А дети – волчата, они ничего не понимают, они идут по кровавым следам! Кто первый зашатается, того и начнут рвать за компанию, хоть мать, хоть отца. Стой крепко, и дочь останется с тобой!

– Спасибо, Фриц, – прошептал Эбергард, становясь мальчиком: еще слово – и потекут слезы. – Только ты... Понимаешь, любую, даже психованную нашу жизнь, безумную как-то выстраивает... даже оправдывает... присутствие хотя бы одного правильного, такого, как ты. Человека.

– Или Бога, – серьезно сказал Фриц.

– Или ребенка.

– Послушай, а что значит – Стасик Запорожный «из этих»? Из каких «этих»?

– Представления не имею. Я думал, ты знаешь.

Фриц вздохнул:

– Неудобно было спрашивать. Вот и думай теперь. Голубой, еврей или фээсбэшник? А я с ним по бизнесу связан...

У тебя звонил телефон. Эрна? – вот что сразу. Да. Почему сразу «Эрна»? Никто больше не нужен? Папа (словно торопится, или волнуется, или идет по улице, движение шумного воздуха, говорящие губы ближе-дальше или дыхание непокая), я не смогу послезавтра встретиться с тобой (мы же договаривались! почему?), у Алечки день рождения. Вот и незачем «почему?», не втиснешь, скажи уверенно:

– Ну, хорошо, тогда до первого сентября, я за тобой заеду, – и тряс головой, и морщился от засухи, от непрозвучавших «буду ждать», «жаль, что так вышло», «целую», «давай, в другой день!», со стороны – сумасшедший (всё, отключилась, нажав нужное) и прошептал: – Сумасшедший. – И вечером дома (ты же собирался встречаться с Эрной? что значит «она не может»? ты же заранее предупредил?! вы же договаривались! ты же ее отец!) смотрел с Улрике то, что показывал телевизор, а чуял жалость: никогда у него не будет там, потом, пожилой сверстницы-жены, такой, что прожили с юности душа в душу, друг в друге, перемололи всё, перемогли, перемололи, и вот теперь хоть и ползают, да заботятся друг о друге; он пошевелился, закрепляя движением: да, такого точно у него не будет; притворится мужем Улрике, но без свадьбы, зачем свадьба? – свадьба уже была, пиджак и брюки, волосы особым образом, семья уже – была. Надо расплачиваться.

Вчера – точно четырнадцать лет, как они познакомились. Кроме жалости он (вдруг, в эти минуты! несколько раз по шестьдесят секунд!) скучал еще – по теплу, по словам Сигилд. По дому. Плохое на подлинное «сейчас», пока они смотрели с Улрике в телек, забылось, и он тосковал, словно Сигилд умерла. Но всё-таки жива. Нет, умерла. Но всё-таки жива, вон позвони – услышишь. Наверное, слишком мало времени прошло... И прямо не верится, что ничего не получилось, что их целые, настоящие годы уже становятся и станут туманным,

ошибочным эпизодом (взглянул на Улрике – неродное, уродство, взглянул на стены съемной трешки – чужое), поднялся и двинулся на кухню, словно чтобы там кому-то сообщить: вот у меня появилось прошлое. Прошлое, оказывается, это развалины, смотри на взорванную электростанцию, взглядом вдоль проводов: вон там еще и вон там было напряжение – где кончилось оно? Когда начали подолгу молчать? Засыпать с невысказанными обидами, недоговаривать, потому что не имеет смысла, одно и то же, всё равно ты (я) не изменишься, не поймаешь, не станешь, когда после заметных (а потом незаметных, а потом «без») мучений он начал целовать Улрике, расстегивать на ней пуговицы зажмурившись и – утешать.

Улрике нашла его и прижалась:

– Я с тобой.

– Давай, – вдруг, откуда это? но нужное, будто согласился, покоряясь, согнулся до земли и перебирал «заведем», «родим»... – Пусть у нас будет ребенок. Твой и мой.

Она молчала, словно оказавшись под водой и боясь захлебнуться, и крепче прижалась, посылней, стараясь не вздрагивать и молча, чтобы Эбергард не услышал, как расплакалась она, – за все свои годы с ним, говорившие «надежды нет», «ничего у тебя не будет, как у всех», «от чужого двора не бывает добра»; но она верила в свою любовь, отдала любви всё и любовь не обманула – всё у нее будет, как у всех, и еще лучше.

Утром первого сентября ветер повалил тополь на высоковольтную линию и сгорела подстанция «Капотня-4» – отключили свет в трех округах, Интернет, мобильную связь, встало метро, и люди поднимались и вытекали на земную поверхность, затопив дороги, не давая тронуться подогнанным со всех округов автобусам, пугавшим, да еще с перевернутыми, для подтверждения недействительности, незнакомыми, чужеземными номерами маршрутов, – и всё остановилось. Эбергард опоздал, но ехал зачем-то за дочерью – Эрну поведет в школу отец! Может быть, нет – должна его ждать Эрна! У подъезда стояла Сигилд. Но без цветов. А где?..

– Я тебя предупреждала. Эрну повез Федя.

Федя, имя существа.

– Я всё сказала Эрне. Пусть знает, что ты нас предал. Нечего ей пудрить мозги!

В мозг девочке – пару! чугунных! гвоздей! Без обмана.

– Когда ты заберешь вещи? Что молчишь? Если не заберешь вещи, я привезу тебе их в префектуру, – уже в спину; так и не смог взглянуть прямо на Сигилд, кажется, продуманно нарядилась, много белого. – Я подавала в суд на развод, вчера нас развели. Можешь получить копию решения и поставить штамп в паспорт!

Зачем-то он приказал Павлу Валентиновичу:

– К школе!

Но не пробились и долго еще тащились в префектуру через Третье кольцо и далее – из промзоны в промзону; Эбергард слушал радиопесенки, отправлял эсэмэски и поглядывал на страшные сооружения, словно просившие называть их «ректификационными колоннами», – выходит, подделала его подпись на повестке... Оспорить. Отменить. Смысл? Сигилд такая, он знал. Такая, как все.

Будто «ничего нового», так надо, не теряться, потерпел два дня и эсэмэску: «Эрна, что у тебя в выходные? Поедем в дом отдыха: аквапарк, шашлыки, лошадки!» – «Не получится, идем с классом в боулинг. В воскр с мамой к знакомым на дачу». Что за знакомые ублюдки там появились?! Какая дача?! Послал: «Жалко. Я тебя очень люблю». Ждал днем. Нет ответа. Ночью проверил: конвертик, есть! – оказалось, скоты прислали рекламу. Утром: опять нет. И нет. Это ничего. Ребенок. Он не мог прекратить, насмотреться, хоть что-то – разглядывал номер Эрны, ее цифры, жал клавишу, не давая погаснуть. Вот она. Живая где-то. Молчит. С ним молчит.

– Нужны все эсэмэски с этого номера и на этот номер. За последние две недели. Оформлен на меня, – он бросил паспорт секретарше Жанне, тощей, уродливой, огромные стекла

в очках, «я стерва, и мне нравится ею быть, потому что меня никто не полюбит!». Жанна боялась Эбергарда так, что могла заплакать посреди мирного разговора про опечатки в обзоре прессы для префекта, всех остальных посылала матом.

Ночь. Это ночь. Ведь ночь? Да. Как он здесь... Но это место... Деревянные стены?... Это дом отдыха, где они... Вот Улрике. А что? Что подбросило? Кто-то ходит? А, он вздрогнул: телефон. Посреди ночи – страшно звучит его телефон – Эбергард вскочил, боясь не застать наверняка ошибившийся голос какого-нибудь пьяного из другого часового пояса, из Владивостока, только не тишину, только не с неопределившегося. Только не «умерла мама», и следующий он. Да. Да!!!

– Ну, эт-та... – улыбался где-то Леня Монгол, – у меня тут солнышко. Сижу с обгорелой мордой. Че звоню. Все вот эти хваленые массажные салоны... Жена говорит: Леник, вижу маешься – ну сходи. Девки худые, маленькие, лезят по тебе, как котята, – тьфу! Хотя я, ты знаешь... люблю больных и тощих! Приняли там одного... Читай новости. Хвались!

Эбергард посмотрел новости в телефонном Инете, спать хотелось, но не заснул почему-то, сидел и зевал на балконе в темноте – сверху кто-то сморкался, бабочка дребезжала в окрестностях лампы, огромные лесные вялые комары крестили стены, как освящающие штампики нанятого священника, безжалостно пятнающие обои и фактурную штукатурку. Он поднял голову: звезды на небесном платке, косо постеленном меж косматых верхушек берез. Что-то неведомое стрекотало, тянуло сыростью от травы, пробивало тишину Осколковское шоссе, и спокойно восклицали что-то женские черноволосые азиатские голоса в деревянных, крашеных зеленой домиках для прислуги. Переругивались дальние собаки, шаркал и посвистывал невидимый ранний прохожий, с удовольствием катил охранник на велосипеде, совершенно не глядя по сторонам – наслаждаясь мальчишескими воспоминаниями, виляя рулем и радостно приподнимаясь на педалях перед препятствиями, в своей черной форме и угловатой фуражке похожий на эсэсовца в отпуске.

Без десяти восемь, когда в префектуре уборщицы громыхали ведрами в туалетах и свет горел только в коридоре и двух окнах Евгения Кристиановича Сидорова, Эбергард уже стоял в пустой приемной Бабец, разбудив раньше срока недовольную ночную дежурную, утепленную платком козьего пуха вокруг пояса. Дежурная стеснялась при посетителе вернуть в кабинет префекта позаимствованный чайник и отойти в туалет и вздыхала, ожидая секретаршу Марианну, навек закрепившуюся в приемной благодаря в основном чудовищному размеру груди, кожаным юбкам с разрезом и умению особо наклониться, приземляя поднос, а Эбергард смотрел дежурной за спину на стародавнюю, появившуюся до префекта Д. Колпакова, до Ворошиловского райкома, но всё-таки после Марианны картину – какое-то замызганное волжское побережье; картина тревожила Эбергарда тем, что в кудлатых, низкорослых зарослях березняка и елок торчали три высокие пальмы. Эбергард каждый раз присматривался, но нет: обезьян вроде не видно.

Бабец протек в кабинет не здороваясь, так полагалось: Эбергард не записывался на прием, а префект по пути в кабинет погружен в значительные размышления о ходе реализации программ мэра и городского правительства на территории округа, поэтому не узнает знакомые лица, не отвечает на полупоклоны, но кланяться обязательно; позвоните ему, попросил Эбергард дежурную, выждав минуты, достаточные для «переобуться», «отлить», «позвонить жене, что доехал и что машина – к ней», «выпить таблетку», «полистать поканально телек»; а вы договаривались? представьте хоть. Он устроил племянницу дежурной корректором в «Вечернюю столицу», дежурная знала его шесть лет, но так полагалось. Егор Иванович, тут подошел Эбергард, пресс-центр, не записан, просится, на одно слово...

Бабец важно хмурился в слоистое нутро красной папки «На подпись. Срочно!», поросшее лепестками разноцветных закладок, никаких рукопожатий и «садись», не подымая глаз:

– Ну что?

– Егор Иванович, простите, что без звонка, просто, хоть и не имеет к префектуре прямого отношения, по департаменту культуры, но округ-то наш... Решил вас пораньше поставить в известность, вдруг кто будет звонить, чтоб вы в курсе... – На листе бумаги – «вот».

Эбергард смотрел, перетекая глазами в глаза Бабец, читая его глазами, разделяя сладость и восторг, но всё же – с безглагового, отстранившегося расстояния...

– Да ты что?! – ахнул Бабец и прочел еще вслух, разжевывая по слову: – «Вчера сотрудниками роты ДПС. В ходе операции “Арсенал-2” на контрольном посту милиции. На улице космонавта Рюмина...» Хоть не в нашем округе!! «Был остановлен автомобиль “лексус”, управляемый руководителем дирекции капитального строительства управления культуры Восточно-Южного округа Валерием Гафаровым. В ходе осмотра в салоне автомобиля был обнаружен сверток из мешковины с автоматом АКС-74УБ, съемный глушитель и два магазина». С шестьюдесятью патронами! «Чиновник и автомобиль доставлены в ОВД Вознесенского района». Слушай, так это... Твою мать! – Бабец упустил очки куда-то под ноги. – Так он – террорист?! В мэрии все а-хренеют. И мэру... Молодчик, что ты мне. Мать честная! Пойдем, – отворилась дверь в комнату отдыха, – да садись ты! – доставалась бутылка, – не могу просто поверить! Гафаров этот, черножопый... Ай-яй-яй, говорил я тебе! – помнишь?! – надо к нему повнимательней присмотреться. Чуял я! – Бабец протянул Эбергарду стопочку. – Куда мы идем?! – прокричал префект и хватанул Эбергарда за руку, словно у него лопнули глаза. – Железные двери с кодовыми замками на каждый подъезд. Видеокамеры на каждый этаж. Дворы огораживаем – решетками! В детских садах вооруженная охрана. И в управлении культуры работают бандиты. Что дальше? Теперь скажет: автомат не мой, а? Деньги судье занесут.

– Всё равно. Три года.

– Спасибо! – кратко и больно Бабец сжал его руку и вывел обратно в кабинет. – Что информировал. – И перевел на громкую связь стеснительно пропичавший внутренний телефон. – День, как всегда, начинается с тебя, Евгений Кристианыч!

– Егор Иванович, – первый заместитель Сидоров чеканил явно написанное, – докладываю: сегодня в семь ноль три на мой телефон поступил входящий звонок с телефона главы управы Троице-Голенищево Панченко. Панченко сообщил, что у моего подъезда по месту прописки, Весенний бульвар, девять, припаркован автомобиль БМВ, государственный номер вэ 126 эсэр, и что в перчаточном ящике автомобиля находятся документы на право владения, оформленные на мое имя. В ответ на мой решительный протест Панченко заявил, что это благодарность по итогам проведенного аукциона на выполнение работ по вывозу мусора в Троице-Голенищеве. Официально заявляю, – Кристианыч поправил голос, – что никакого отношения...

– Я понял, Кристианыч. Что хочешь? – Бабец поморщился, высоко обнажив всю свою металлокерамику – до синеватых десен.

– Оградить от провокаций.

– Сиди жди, – Бабец понажимал кнопки, – Марин, с Панченко соедини.

– Пойду я, Егор Иванович?

– Видишь, Кристианыч первым задержался. Чуткий, суч-чара. Думает – уберут меня. Слышал, такое по городу несут? Панченко, алло, ты там заberi то, что пригнал по одному адресу. Чтоб у меня тут ничего не воняло! Слушай, это мой вопрос, что, и как, и с кем ты решал, а? Дети, блин, – брякнул трубку и тускло взглянул на Эбергарда. – Говорит: что это он – всегда брал, а теперь...

Эбергард решился, вдруг и Бабуца бывает необходимо участие:

– Но ведь там, – и покосился за окно, над Тимирязевским проспектом, в середину города: мэрия, герб и флаг, – вроде бы... – закончить следовало, – «всё сложилось»...

– Глядит он на меня, кажется, не зло, – раздражаясь на себя (с кем? кому?), начал Бабец, – но он же...

Бабец умолк, но фраза продолжилась сама собой, поползла дальше, словно у нее отросли ноги, диким мохнатым суставчатым насекомым выдавилась из норы, и до Эбергарда поползла как льдистый подвальный запах из провонявшей холодильной камеры: «но он же в семье не один» – Эбергард тяжело, измученно, страдающе за префекта и слезливо, приемным сыном, несправедливо обойденным любовью, но без малейшего упрека вздохнул, приподнимая грудю гриф невидимой штанги, хотя ему было всё равно. В целом – всё равно. Неважно.

Вот! – важно (это настоящий он только что шел префектурным коридором и пел «Прилетела-села важная пчела...» – а сейчас закричал заранее внутри себя; но – и ладно, что бы там ни... и жить дальше! А может, ничего и нет):

– Что вы просили, звонки и сообщения. На двух листочках, – и секретарша Жанна пропала, потому что Эбергард бешено кивнул, не думая, на «сделать кофе?».

Вот Эрна пишет уроду: «Завтрак в школе я не кушаю», вот пишет ему же еще (два дня прошло): «Федя, ты приедешь сегодня ночевать?»; отцу не пишет, уроду пишет, ну да, он свежий, новый, ребенку интересный, он там – каждый день, и вот – что искал: «Я тоже тебя люблю. Очень-очень», – рядом с появившейся кофейной чашкой откуда-то упали две слезы, хотя Эбергард не плакал, он растерянно закрыл лицо ладонью (секретарша убежала – спастись!) и вздрогнул и вздрагивал еще от каких-то внутренних ударов, его били изнутри, и согнулся над столом, прислушиваясь, кто же это там в него заселился? И еще попозже, теперь бесконечно – что же там под кожей и ребрами других людей? – зачем уроду выдавливать из его дочери признания в любви, из чужой девочки, из одиннадцатилетней дочери живого присутствующего человека? Хорошие отношения – да, нужно иметь хорошие отношения со всеми проживающими на жилой площади... Но любовь? И он бы на месте урода с дочерью живого присутствующего человека – никогда. Зачем это?

Бесконечно, не унять, и измученный, он думал (уже совсем потом): ну что ж, Эрна жива, она здорова, ей ничто не угрожает, отцу не пишет «я тебя люблю» даже в ответ, даже на выпрашивание (как радовалась эта тварь, выговаривая «Эрну повез Федя», ах ты...), живет в семье, отдельная комната, ее любят. Успокоиться. И отойти в сторону.

Лишить тварей возможности жалить!

Но (Эрна не писала, Эбергард позвал сообщением в кино, нет ответа, нет даже «нет», нет «не могу»! Он больше не звонил, он обиделся, как же так «люблю очень-очень», ему казалось: Эрна знает, «за что» он обиделся, и теперь позвонить первой должна она) оказался под дверью «Психолог» и вслушивался: «Ваша девочка немного подозрительна мне. Но – не более того. Я тоже в детстве был подозрителен, ну и что? Про Эйнштейна в детстве почитайте», с чувством подвинулся стул: «Не надо нам Эйнштейна!» – лучше не слушать! Эбергард посмотрел на белозубые и застенчивые плакаты, на очередь в соседний кабинет, в очереди материнская дотошность терзала вынужденное смирение футболиста в рамках анатомии? природоведения? – теперь это называется «ОБЖ»: «Из носовой полости воздух попадает... Куда?» – «В глотку!» – с оттенком оскорбления сообщил выученное футболист. «И там...» – «Теплые кровеносные сосуды согревают его» (думал: не готов к битве, а если урод окажется таким-то и таким – чем Эбергард ответит? Любовью? Словами? Своим вечерним шепотом прошлых одиннадцати лет?). – «А слизь?» – «Поглощает пыль». – «А пища потом куда?» (Но любовь для ребенка – подарки, количество и своевременность, и развлечения, пышность и разнообразие; и постоянное присутствие; успокоиться, собрать силы, наметить, куда бить.) – «В пищевод». – «А куда идет воздух после глотки?» (На осенние каникулы – в Париж, что случилось для тебя такого неожиданного? Ничего неожиданного, не бывает по-другому. Просто впереди еще – много боли. Вопрос лишь в том, есть ли там что-то, за болью, за изживаемой детской глупостью и жестокостью, временем, есть ли там Эрна рядом с ним, или он там один. Деньги. Для войны нужны деньги.) «В дыхательное горло!»

– А что находится в гортани?

– Ничего!

И учебник захлопнулся:

– Два!

Расскажите – рассказал; психолог слушала так, словно уже виделись, словно вот-вот перебьет, и всё это он уже в прошлый раз – слово в слово, только из вежливости не прерывает – всё, что он, перевод его «больно» не имел почему-то значения для нее и для него, он и так знает: главное – что скажет она, психолог, колдунья, когда он замолчит и начнет слушать, крутить квитанцию и мять, сворачивать в идеальный прямоугольник, разглаживать сгибы... Нет, всё напрасно, как только Эбергард увидел: психолог похожа на бухгалтера и бедна, а психолог обнаружила: ребенка не привели, нет надежды на многосеансовую терапию.

– Отношение ребенка можно изменить... только! путем! убеждения! вашей! жены! Дочь не принуждайте. Просто находитесь рядом. Смотрит телевизор, вы – рядом. Гуляет, вы – рядом. Встречайтесь по графику, пусть ждет. Ожидание приносит много радости. И больше не говорите, что вам с ее мамой было хорошо – ребенка это ранит!

– Мне кажется, она обманывает меня, когда говорит, что...

Психолог неприязненно рассмеялась:

– Удивляетесь? А вы? Посмотрите на себя! Вы же постоянно неискренни!

Эбергард отдал квитанцию и – больше не клиент, психолог причитала вместо «до свиданья»:

– Да не переживайте! Всё изменится! Когда мои развелись, – и она, выходит... оказалось – то же самое у всех, – я тоже, – почему «тоже»? откуда тебе знать, что думает Эрн? – винила во всем отца. Подросла – винила мать. Еще подросла, поняла: семья – это двое, – он уже читал это один миллиард раз!!! – и в разводе виноваты, – погрозила ему, – обе стороны. Но не пойму, что с вами? Может, у вас с бывшей женой еще не кончилось? – И вдруг, словно выстрелило, что-то взорвалось на соседней стройке так, что пассажиры на остановках вздрогнули и оглянулись: – Вы любите ее?

И она умолкла, действительно ожидая ответа, хотя должна была согласно его представлениям о людях тархтеть и тархтеть... Что тут скажешь.

– Вы несчастливы в своей новой семье? Тогда в чем дело? У нее новая семья, у вас новая семья, нет материальных проблем, всё естественным образом должно забываться, и никто не мстит... Вот я, – и это у всех! – развелась и – Гос-споди! – да мне всё равно! где он там да что там с ним... А у вас? Может, любовь перешла в ненависть? И дело не в дочери? Дело в вас?! – Психолог еще говорила, неудобно же встать и уйти, но Эбергард встал и ушел на полуслове, она кричала вслед («Это уже – их – семья! Вы не можете вмешиваться в – их – жизнь!»); на воздухе он оглядывался, ощупывал, отряхивался (водитель Павел Валентинович припарковался впереди, за автобусной остановкой, за вереницей чернолицых бомбил и махал оттуда: я – здесь!): как? Так?

Вопрос, что я на самом деле испытываю к Сигилд?

Я испытываю к Сигилд сильную неприязнь. Это правда.

Что ты на самом деле хочешь?

Хочу быть с Эрной как можно больше. Как можно ближе. Как раньше. Как всегда. Воспитывать. Оберегать. Правда. Я ее отец. Это не должны говорить, знать, видеть, это должно – быть. За всё сказанное – ручаюсь, это не кажется – твердость, действительно.

А теперь обернись.

Психолог сказала: «их семья». Там уже семья. Если ты ушел, ты, получается, согласился, что дочь будет жить в другой семье, с другим отцом. Та семья живет на свой лад, своей судьбой. Ты не имеешь права вторгаться. У дочери твоей есть родители, оба. Она с ними, с родителей будет спрашивать Бог или кто-то там, как они справляются. А ты – только вежливо предложить

подмогу и не обижаться, если «спасибо, у нас всё есть». Все дети уходят от родителей и звонят раз в месяц, если не забывают. У тебя просто немного раньше.

Нет, ему показалось: вот здесь он обнаружил и быстро нажал кнопку «Отмена» – он же не уходил от дочери, только от Сигилд. Семья Эрны – это и я! Нет, это моя дочь, я буду ее растить, это не я пациент!

Он пробовал ходить, пробовал дышать, и всё получалось «с тяжелым сердцем».

Водитель вручил Эбергарду газету:

– Почитайте обязательно! Двоюродная сестра Раисы Горбачевой вышивает ногами!

И он против воли увидел фотографию инвалида.

Эрна не ответила ни на одно из трех новых сообщений. Ни на утвердительное, ни на повествовательное (1370 знаков, но содержащее вопросы), ни на прямо вопросительное. За следующую неделю ответила лишь однажды на «заберу тебя с английского»: «Английского завтра не будет». Ее голосом: не увидимся. Матери (когда они с Эбергардом еще встречались каждые выходные) звонила каждый час – без напоминаний! – и каждый звонок: «Мамочка, я люблю тебя!», «Мамочка, я люблю тебя!»

На крыльце префектуры седой поганкой торчал Кристианыч, наблюдая за муравьиными усилиями туземцев из ЖКХ в мушкетерских попонах, вылизывавших неуместные листья со внутреннего двора (ожидался вице-премьер Левкина). Согнув, как полагалось, за пять шагов голову, Эбергард бесшумно обогнул по максимально удаленной траектории Кристианыча, прошептал: «Здрасти, Евге... Крист...» (первый заместитель никогда не подавал ему руки), и тот вдруг кивнул:

– Как с дочерью? Что ж не пришел посоветоваться?

Эбергард поклонился: виновен.

– Откажись от дочери. И тебе ее приведут, – и он опустил морщинистые веки, сливаясь с октябрьской серостью.

– Я теперь люблю деньги! – ввалился уволенный художник Дима Кириллович и без спросу упал в кресло для важных, равных Эбергарду и повыше людей, приставленное к обособленному круглому столу – непривычный: в костюме, распухший галстучный узел с усилием размыкал жестяные углы рубашечного ворота, оправданием швырнул на стол визитку на шершавой золотистой бумаге. – Я всегда считал: стыдно зарабатывать, стыдно хотеть денег – моя ошибка! И мне ничего не давали, даже когда давали всем. Теперь заставляю себя говорить каждое утро, – Дима вскочил и вдавил высыхающую рябую конечность в борт пиджака, присягая, глядя на невидимый поднимающийся флаг новой родины, – я люблю деньги. Я хочу деньги. И они у меня будут. И квартира у меня будет, – и выдавил вдогонку, опасливо, словно матом, – получше твоей.

– Я вообще на съемной живу. У нас префект новый, вчера представили, – Эбергард, не посмотрев, смахнул визитку художника в урну. – Устроился?

– Почти арт-директор информационно-издательской группы аппарата вице-преьера Ильи Семеновича Левкина! – и Дима расстегнул пару пиджачных пуговиц, обнажив на поясе новый мобильник в коричневом чехле. – Слушай, распорядись там кофейку... Только не рас-творимый. Жанночка, сделай-ка капучино, что-то я пристрастился... Я по делу. Может быть, выберу тебя для одного – очень – интересного – предложения. Но, знаешь, день так плотно расписан. Засиживаться не могу. Уж извини.

– А почему арт-директор «почти»?

– Есть там пока один мальчик... Но сла-абый, – Дима захихикал и долго не мог справиться с собой, разомкнуть заслезившиеся веки, – ты бы его задушил в первый же день! Я туда пришел, как хищник, огляделся, – Дима действительно внимательно и хитро обозрел углы, настороженно расставив когтистые лапы, – и понял: начальства много, но всё мясо, деньги только у папы. Решает один, – и жарко прошептал: – Левкин! А его все ли-ижут, обступили,

я побегал вокруг – присосаться негде. Вгрызться негде! Дождался дня рождения папы: позиционировать вас надо по-другому, Илья Семенович, новое слово нужно в основание вашего публичного образа, слово же камень, на камне строится всё, и слово ваше – величие! А от него пойдем развивать – величие свершений, величие облика, величие замыслов... Так Левкин меня прямо за руку хватнул, до синяка – хочешь покажу? – и так: да, да, да! Разработайте! Вот как я всё проинтуичил. – Дима не мог успокоиться и маячил перед Эбергардом туда и сюда, словно выискивая паркетину, какая-то вроде здесь скрипела, улыбался и разводил руками.

– Надо же. А я думал, у Левкина вокруг только племянники. И троюродные внуки...

– И это есть! Есть, – захохотал Дима, замахав руками. – Одни свои! И трепещут. Ты не представляешь, как чудно: зайдет – все должны встать; на кого взглянет – представляйся: имя, стаж, образование. Если выступает, то полный зал. Увидит свободное место – поворачивается и уходит. И чтоб в первом ряду ветераны. Обязательно с медалями. На любом совещании. Он посреди доклада – к ним: «Ну что, мои дорогие? Есть замечания? Хотите что сказать, гордость наша?» Если выезжает на объект, любит, чтобы все вокруг мусор убирали! Даже я уже два раза бумажки вокруг департамента собирал – не откажешься! – Дима присел и будто сам себе, в полузабытии, едва слышно пропел, подзакатив глаза: – А ведь под идеи мои бюджет получу... Исполнителей буду выбирать. Из самых лучших. – Помолчав, рассчитывая, чтобы поглубже упадет, прорастет и окрепнет: – Интересно тебе?

– Давай.

– Только, ты же знаешь, как я люблю. – И Дима сурово прогнусавил: – Без косяков. И строгое соблюдение сроков. За деньги я спрошу. Страшней меня не будет, всасываешь, что я говорю?

– Еще бы.

Дима нетвердой от радости рукой цапнул со стола Эбергарда салатную бумажку для записок и вывел «20 %», просипел, преодолев подрагивающую предвкушающую запинку:

– Откажишь?

Эбергард отобрал у Димы Кирилловича ручку и жирно переправил в «50 %».

– Даже так? Ну что ж – партнеры! – и произвел горячее рукопожатие. – Всё заприкину и перезвоню. Давай как-нибудь пообедаем, только возле меня, в центре, а то до вас телепаться...

– Извини, Дим, мне тут надо...

– Это мне пора, – Дима охнул, увидев часы, и с некоторой небрежностью осведомился: – Слушай, у тебя машина не свободна? Павлик не добросит меня до метро?

– Нет.

– А через час? Может, я подожду? – Дима Кириллович неожиданно похлопал Эбергарда по плечу. – Ты так не переживай из-за своих там личных ситуаций... Нет непокупаемых ситуаций. Есть вопрос цены!

Опаздывал в префектуру – монстр не вызывает, делать нечего; дольше обычного спал и посреди мук обидного утреннего просыпания (оттого, что чешется голова, сбилась подушка, кто-то дышит в лицо) понимал: хочу жить один, следом понимал: хочу домой, к дочери и так сильно, что хоть вставай, одевайся и иди под редким осенним солнцем, переступая заледеневшие лужи, как в детстве – «хочу домой»; над тарелками и чашками завтрака что-то утреннее из этого проступило на его лице, и Улрике забрала свою чашку и ушла в комнату – такое молчание за столом не согласовывалось с ее представлением о торжестве взаимной любви.

Всегда и сейчас – что Эбергард искал в дочери? Понимания. И не мог сказать: «ничего не понимала», «ничего не хотела изменить», а лишь «ничего не могла». В самом начале, когда он побеждал, вернул себе интерес к будущему времени, выбросив из жизни заржавевшую, изношенную женщину, Эрна ответила ему на вечернее «Как настроение?» – «Каждый вечер кажется, что кто-то должен еще прийти. Но никто не приходит. Возвращаясь»; он так быстро

стер, замазал, зарастил, завалил спешно купленным дочери новым мобильником это сообщение, что вспомнить не мог, точкой оно заканчивалось или восклицательным знаком. И тогда же, в первые недели, месяцы (дочери казалось: мама и папа просто живут отдельно, папа много работает, ремонтирует новую квартиру – хотя никто не знает, что ей казалось самой, а что вбивала, впрыскивала под кожу и втирала в виски ее Сигилд, но что бы ни казалось – вырастет и забудет) – Эбергард забирал ее из дома покататься со снежной горы, – не до конца еще забравшись в машину, валенки торчали снаружи, Эрна вдруг выпалила:

– Почему вы с мамой так редко видите?

Хорошо подготовила Сигилд! Эбергард показал на затылок водителя Павла Валентиновича: потом...

Черным вечером они пять раз скатились с горы, и внизу неожиданно Эрна опять спросила: почему?

Он сказал, достал давно припасенное, как подарок. Что кончилась любовь. Мы будем жить в разных домах. Но ты – наша дочь, ты всегда будешь с нами. Мама не останется одна, я надеюсь, у нее появится другой муж. Он не сказал только: у меня есть Улрике, помнишь, много лет назад я принес тебе в подарок фею с золотыми крыльями и с волшебной палочкой – это тебе подарила Улрике.

Я так не хочу, сообщила Эрна.

Мама будет счастлива, а со мной она несчастлива. Я не буду ее мужем. Но всегда буду твоим папой.

Не хочу так, хочу, чтоб ты был и муж. Я не хочу, чтобы родители в разводе. Эрна сняла варежку и вытерла слезу. Кто-то в классе, видно, пояснил ей, что происходит, когда родители договариваются пожить какое-то время отдельно и чем всё это обычно кончается.

Он сидел на корточках перед Эрной, но смотрел ей в живот. Вы не можете помириться? Нет. Ты бы подошел в Прощеное воскресенье и попросил прощения (это он ей рассказывал про Прощеное воскресенье!). Тут никто не виноват. А если я приведу ее к тебе, вы помиритесь? Я не виноват. Но кто-то же сказал первый: давай жить отдельно? Мы оба. Ты будешь жить у меня и у мамы по очереди. Но я так не хочу – по очереди.

Тогда будешь всегда у мамы, а я буду встречаться с тобой каждые выходные. И так я не хочу.

Всё будет хорошо.

– Но вы даже не разговариваете! – как-то взросло воскликнула Эрна, и он не выдержал, схватил за заплакавшие плечи и закричал: мы еще будем разговаривать, будем встречаться, проводить вместе праздники, вместе летать на разные моря, в красивые города и всё там смотреть!

– Когда?! – тоже закричала она.

Он выпустил ее, словно упустил, выронил и замерз сразу, он хотел ответить «когда мы будем старичками».

– Я всё сказала, что хотела. Пойдем.

Они, не взявшись за руки, двинулись в гору, но мимо тропинки, с каждым шагом пробиная снег глубже и глубже, и посреди пути наверх оба провалились по пояс – молча барахтались в трех шагах друг от друга и не могли выбраться.

Дни, недели монстр молчал – никого не вызывал, не ездил знакомиться по районам, не собирал совещаний, уволил только водителей Баба за скверный запах и бедный вид да поменял положенную префектам «вольво» на «ауди-8» (великодушно предложенную дальновидным застройщиком в аренду по цене, равной «за так»), велел окружному ГИБДД выделить для сопровождения «лендкрузер» с мигалкой. В префектуру он заезжал часа на два, неспешной развалочкой двигался к кабинету ноябрьским болезненно-сумрачным коридором, за ним мордатый водитель нес портфель и косолапили два рослых охранника (и это было чудно пре-

фектурным – префект с телохранителями! – звонили в префектуры, соседям: вон как у нас! – Д. Колпаков-то пешком на работу ходил! Бабец, помните, один ездил на рынок у Фрязинского вокзала, когда там спорили азербайджанские евреи, опекаемые государственным таможенным комитетом, с солнцевскими, соединившимися с ГУВД, и каждый день – труп на выходе из парикмахерской в день пятидесятилетнего юбилея или пожар в свежоотстроенном павильоне; а в зампрефекта Кравцова, приехавшего отключать «незаконное подсоединение к электросетям», когда «старшие» еще колебались, с кем «порешать», неустановленное лицо бросило топор, а главу управы Фрязино Мишу Табольцева, на него Бабец перевел стрелки, когда «старшие» наконец-то выбрали, застрелили в префектурном дворе без пятнадцати девять утра – просто так, без всякой практической пользы, в знак «вопрос закрыт»...).

В кабинете монстр принимал доклад Кристианыча, ни в какую не соглашавшегося пристесть наконец на вот эту хоть бы вот стулочку, о поступившей почте и наблюдал, как Кристианыч почту эту с пояснениями расписывал; и пил какой-то особенно целебный чай, доставляемый одним и тем же опрятным китайцем из ресторана на Ярославском бульваре, с главным бухгалтером Сырцовой – Сырцова ходила счастливая, подмигивала: «Любимая жена!» Где он проводил остальные часы, дни, недели? С кем что перетирал? Обсуждал «правила игры», прежде чем нажать *play*? Разбирался с кадрами – кто чей? Размечал доставшуюся делянку: откуда вынимать, кому носить, сколько и как прилично отвести ручеек от общего течения и запрудить собственный рыбхоз? В префектуре ничего не изменилось, стало как-то потише, только милиционеры на проходной дежурили теперь по двое, и на лавочке они больше не отдыхали, и пропуска проверяли поголовно у всех, даже у многолетне знакомых лиц и подруг; и еще один милиционер в бронежилете встал у входа на четвертый этаж, на пути к кабинету префекта, да еще опустела приемная – бессменная Марианна в кожаной широкобедрой юбке, устранив из пышной блондинистой копны седину и попытки восстановления прирожденного цвета, вооружившись самым глубоким, хоть и слегка, увы, морщинистым, но по-прежнему полногрудым вырезом, из которого перли наружу черные кружева с красными цветочками, совершенно терялась и непривычно надолго замолкала, страшась включить телевизор, когда напротив нее усаживались охранники, – те разговаривали только между собой и как-то непонятно или о непонятном, с местными отказывались сходить перекурить или выпить кофе, на прямые вопросы храбрых о хозяине отвечали снисходительной улыбкой, в которой можно было прочесть всё что угодно, но всем читалось одно: «сами скоро увидите».

Но никто пока ничего не видел – темно и поэтому страшно; в округах префектов почти не меняли, а если кто-то рос или умирал, на смену предсказуемо приходили люди из системы, или, как говорили, «из семьи»: первые замы – свои, или из соседних округов (горизонталь), или начальники городских невкусных отраслевых департаментов, рвавшиеся на божественное «распределение средств целевого бюджетного фонда» и сопутствующие сладости территориального единоначалия (вертикаль), – расписание на пять лет вперед, ясно, «кто, если что...», и про каждого знали, «чей» – мэра или Лиды, самое меньшее – «Левкин его двигает...»; явление монстра в богатом Востоко-Юге поразило правительство и префектуры, и черный управский люд, и муниципальную гольтьбу – крепость, выстроенную волшебным «всем всё понятно», а тут непонятно! А вдруг мэра «нагнули» федералы? Тонем?

Листок учета кадров, Ф.И.О. монстра никому не говорили ничего: между г.р. в деревне Смоленской области, заочным политехническим институтом и записью «советник мэра» (удостоверения «советников» дарились отставникам и продавались мелким понтырящикам) дыривилась тьма из двух строк: «коммерческая деятельность» и служба в обозначенной цифрами «в/ч КГБ СССР» – сам монстр в высокопоставленной бане отрекомендовался «разведчиком», признал нелегальную работу в Соединенных Штатах, никак не объяснив незнание английского; во второй бане также упоминал Штаты, но уже как место срочной командировки для «спасения» сперва как-то попавших туда, а потом почему-то едва не пропавших миллиардов город-

ского правительства; в третьей бане монстр объяснил человеку, показавшемуся ему особо умеющим хранить тайны, что он, монстр, и есть то самое неизвестное, как бы несуществующее для масс влиятельное и ловкое лицо, погасившее пламя в отношениях супруги мэра и ФСБ Ростовской области, запаленное без спросу купленными землями, недоплаченными налогами, не занесенными, куда следовало бы, деньгами, местным юристом, зарубленным самым зверским образом, и – в наибольшей степени – необдуманное решение, кого именно поддержать на выборах в областную думу, чтобы впоследствии душировать губернатора.

При знакомстве в департаменте строительства с вице-премьером Левкиным монстр невольно проговорился: «Когда мы били чеченов...» – в аппарате мэра расслышали его: «Я ж из Питера, как президент...»; о Путине (это примечали все) монстр говорил как-то остановленно, родственно, слабо улыбаясь чему-то, ведомому только ему, словно припоминая недавнее свидание либо предчувствуя близкую (и явно не первую) встречу; услышав, «прописываясь» в департаменте территориальных органов, фамилию Левкин, монстр вдруг рассмеялся: «Знаем, знаем мы Левкина... Взятчик!» – и спокойно махнул своей рюмкой среди окаменевшего молчания; прокурору города монстр поведал: я – генерал-лейтенант, журналисту «Городской правды», напавшему на него после заседания правительства, сказал: «подполковник запаса», военному округа алкоголику Кузьменкову – «в отставку ушел генерал-майором»; начальник окружного ФСБ шептал подкармливавшим его главам управ: «Выяснил точно: полковник внешней разведки» – не прояснялось, кроме одного – монстр, похоже, сидел; любое упоминание мест лишения свободы задевало его лично, он прямо бесился и что-то бессвязно излагал о противостоянии парламента и президента в октябре 1993-го, погубившее не одну «офицерскую судьбу», про страдания за правду и честь Отечества, выбитые зубы; при этом Эбергард коротко знал человека, своими ушами слышавшего, как отставной генерал ФСБ, серьезно взошедший на федеральный уровень по внешнеторговой части, принимая в подарок легкую, несмотря на длину, но исключительно теплую шубу для молодой жены, услышав в ответ на свое дежурное «какие там у вас новости в округе?» фамилию монстра, поморщился и, не желая вдаваться в омерзительные подробности, процедил: «Увольнял из ФСБ его я. За бизнес».

На каждом этаже в кабинетах Востоко-Юга боялись, и никто не хотел бояться больше других; знал что-то наверняка, успокоить мог Кристианыч – он один ходил уверенно, но первый зам никого не спасал, совещания открывал: «Округ дождался настоящего руководства»; как всегда, посетителям из числа подрядчиков и застройщиков опять таинственно предрекал: «Будет мэром»; но, встретившись случайно на пути от пятого подъезда мэрии к автомобилю под первым снегопадом с главой управы Смородино Хассо, лично следившим, чтобы надпись «Рыжик, мы всё знаем!!!» на кинотеатре «Комсомолец» своевременно стиралась, Кристианыч, дважды довольно испуганно оглянувшись (это поразило Хассо больше всего), без всякого вопроса, сам, своевольно, едва различимо просипел:

– Артист. Большой артист, – и спрятался в машину.

За успокоением все ходили побираться к Сырцовой.

– А-а, Эбергард... А мы тут... Чайку? У нас и котлетка есть, будете? – Из кабинета, «да нам уже пора», «мы уже попили, сами не знаем, чего сидим и встать не можем», разбежался, звякая чайными ложками, бухгалтерский люд. – Посмотрите, лимон зацвел! – как глухому, голосила толстая, боком ходившая Сырцова, запираясь на ключ. Эбергард оглянулся на две желтые капельки, повисшие среди сухих веток (что бы ни сказала – будь, как всегда), и улыбался, слушал, словно ради приличия, словно ему больше важны приключения лично ему неизвестных сырцовских внуков или дачных кошек – веснушчатая медноволосая Сырцова обожала земледелие.

– Ходит с пистолетом! Сама видела. Мне сказал: Галина Петровна, жизнь меня побросала. Я с таким быдлом работал! Так что у меня здесь никто плакать не будет. Марианке каждый

день: бутерброды с семгой и черной икрой должны быть всегда. Инвесторов будем встречать по высшему разряду. Закупайте на представительские расходы. Вопросы есть? А Марианка, ты знаешь, как она умеет, попой повела: вопросов нет. И представительских у нас тоже нет. Та-ак удивился... Инвесторы с языка не сходят. Тут к нему уже первые подползли: «Строй-перспектива», Запорожный из «Стройметресурса», «Золотые поляны» этого, Льва Эммануиловича... И префект каждому вот так, – Сырцова болезненной гримасой сжала губы и огорченно покивала головой, заговорив ровно, текуче: – Да, я тут посмотрел, столько у вас врагов... Столько врагов! Ну да ничего, будем помогать, да? Они ему: да всё у нас в порядке, всё мы порешали, и с мэром, и со Старой площадью, имена-отчества ему какие-то называют, что кто-то должен был ему звонить... А он как не слышит: столько врагов... Поможем, ничего, будем вместе по жизни пробиваться. Стасик Задорожный с во-от такими глазами вышел: а за что этому-то?! Сколько можно?! Очень, – Сырцова сложила пальцы щепотью и потерла с хорошо слышным мышиным пробегающим шелестом, – нацелен на это дело.

– Про всех префектурных, наверное, расспрашивает? – Эбергард заставил себя еще улыбнуться и спрятал губы в чашке, но она неожиданно оказалась пуста.

– Ему зам по инвестициям нужен свой, а Кравцова не уволишь. Бабец, когда дела сдавал, попросил: если с Кравцовым не сложится, не увольняйте Мишу сразу – у него жена умирает, поддержите его. И монстр пообещал. Марианка подслушала: сказал – уверен, с Кравцовым сработаемся, если нет – год у него есть. Обещаю, Егор Иванович, так сказал. Да и все другие останутся на местах. И предложил: давайте, может, бизнес какой в округе затеем. Но у Бабца ума хватило: спасибо, не надо. Хотя это Кристианыч мне по секрету... Мэр префекту сказал: посылаю тебя на Востоко-Юг разобраться с провалом на выборах: кадры подвели Бабца или Бабец подвел свои кадры. Вот такая пуля прилетела!

Сырцова – наконец-то! – испытующе глянула на Эбергарда: выдержишь? говорить? нет? – закуталась потеснее в платок и нависла над столом, отодвинув грудью калькулятор, и Эбергард благодарно подвинулся навстречу – вот оно, всё лучше общей тьмы. Или общая тьма всё-таки лучше... Вот сейчас он родится на чертов этот свет!

– Галина Петровна, говорит, а что это за девятнадцать миллионов на пресс-центр? Я говорю: так наружная реклама на выборы. И соцопросы. И газеты...

– Так в других округах...

– Говорю: в других округах по шестьдесят миллионов! А он, сам глазки спрятал: а что за человек этот – Эбергард? Я говорю: многих мы с вами обсудили, и вот только про одного...

Эбергард благодарно сжал веснушчатое запястье главбуха.

– Могу сказать со всей ответственностью – душа у него есть! Добрый. Мастер своего дела. И деликатные вопросы умеет решать. Поговорите с ним. Монстр, а глазки не поднимает: какой-то он... И – не сказал!

– Но – с неприязнью?

– Не поняла. Но ты – ищи работу!

– Да вы так всегда говорите! – И они рассмеялись. – Говорят, из Питера?

– Всегда что-то говорят, – отмахнулась Сырцова, – а ты не слушай, а то зацепятся языками в столовой и – бу-бу-бу, бу-бу-бу... Кто мы такие? Никто! Как те, верхние, думают... что они думают... зачем и куда кого ставят – мы никогда не поймем! Отдельвай квартиру и ищи работу! А мне бы до пенсии досидеть...

Эрна не позвонила сегодня, завтра, послезавтра, неделю, две, дальше, и что же: не позвонит он – она не позвонит никогда? И всё-таки позвонил, сам:

– Не виделись уже три месяца, – чуть не спросил: «Ты не обиделась на меня?» – Я уже соскучился, – свободно, не стискивая зубы, почему-то не получалось теперь говорить, Эбергард просил, он боялся, пусть скажет «тоже соскучилась, папа»; нет: – Давай на выходных сходим в клуб!

– Давай. – Прежний голос? Да, прежний голос. Или всё-таки новые интонации? Да, нет, хватит грызть себя – прежний голос!!!

– Возьми-ка в руки листок и чем записать, – радость возвращала ему уверенность, – давай, давай, я подожду... Взяла? Напиши в столбик: что бы ты хотела видеть в нашей новой квартире.

– А какая она будет?

– Я же говорил: большая! И отдельно запиши, что должно быть в твоей комнате – может, нарисует облака на потолке? Или сделаем сцену?

В безопасный день, во вторник, когда монстр до обеда участвовал в заседаниях правительства, хмуро вслушиваясь в шепчущие подсказки Кристианыча, и плечо его брезгливо перекашивалось от глядящих прикосновений меловых и сладко-пахучих Кристианычевых перстов (первый заместитель префекта теперь особо следил за собственными индивидуальными запахами), а после обеда обходил нужные департаменты, в префектуре чаще улыбались и говорили громче, Эбергард решил навестить Марианну из приемной, бесшумно отворил дверь:

– Привет.

Марианна вздрогнула и отшатнулась от окна – почему-то босиком, похоже, она уже долго что-то высматривала во дворе – зачем? Словно отвернулась от всех поплакать.

– Господи, – побледнев, она потерла чуть сбоку левую грудь и побыстрее вернулась за стол.

– Ты что?

– Ничего, ничего, Эбергард, – говорила она, словно сквозь сон, словно вслушиваясь в еще один голос, более громкий, в диктовку. – Господи, как же хорошо, что это ты... Монстр просит ходить на высоких каблуках, а я... Чтоб ноги отдохнули.

Ничего из «садись», «хочешь кофе?», «чего не заходишь?», «поотвечай на звонки, пока я покурю», молчала и неловко разглядывала свои алые хищные ногти – невероятно: словно хотела, чтобы Эбергард поскорей ушел.

– Ничего, что я... – он показал под ноги, на паркет, – пришел, здесь, стою.

– Не знаю, – прошептала Марианна, – я теперь ничего не знаю. Он такой непроницаемый. Уборщица ночью зашла в кабинет, а на столе автомат и записка – «Префекта нет. Но ты не балуй».

– Запишешь меня на прием? Пора! – И не выдержал: – Или пока не советуешь?

Глаза ее что-то говорили, но Марианна только вздохнула.

– Говорят, из Питера? – Эбергард кивнул на кабинет, предлагая обменную игру «а ты что знаешь?» – в префектуре играли все.

– А мне сказали: сын члена ЦК. Другие сказали: папа его – генерал милиции, отвечал в городе за прописку. По фамилии совпадает. А по отчеству – нет. Но все, – Марианна обвела рукой незримых бесчисленных присутствующих, – что – очень. Богатый. Человек.

– Ну, у тебя с ним?.. – хотя про это не полагалось спрашивать.

– Не знаю, – Марианна не глядела на Эбергарда, словно пряча слезы; надо спросить «у тебя никто не умер?». – В первый день позвонил: сделайте мне авокадо с папайей. А я не знаю: куда бежать.

– Семья?

– Сыновья какие-то...

– Слушай, кто мог монстру что-то про меня... в негативе?

– Да ничего я теперь не знаю! Одно: когда приходит человек, первое, на что монстр смотрит: зубы. Какие зубы. Из наших только Кристианыч заходит, как у тебя с ним?

– Как у всех.

– И твой друг Пилюс всё трется в коридоре, чтобы встретить, хоть до лифта проводить... А еще говорят, – да, теперь Эбергард видел: железная, раз в восемь лет менявшая мужей

на помоложе, пережившая райкомы, исполкомы и три дивана личных комнат Марианна, мать трехлетнего сына и бабушка двенадцатилетней внучки, тихонько плакала, ухитряясь не выпускать слезы, – что монстр это – так... Что над ним другой человек.

– Ты так с ума сойдешь от этих слухов, – Эбергард ловко обогнул стол, нагнулся, поцеловал и обнял Марианну, поглаживая знаменитые, выгодно обтянутые груди. – Что он – первый? Изучим, освоим. Привыкнем. Его уволят, а мы будем всегда.

– Иди, иди, молодожен, – всхлипнула Марианна. – Насмотришься там в своем пресс-центре порнухи и приходишь...

– Помнишь, как в ночь прошлых выборов, в кабинете Бабца? А на столе?

Марианна наконец-то рассмеялась, обмякла и прижалась тесней. Эбергард ничего не услышал, никаких скрипов, голосов и шагов приближения – тело само, не прибегая к помощи мозгов, вдруг отшатнулось, вытянулось, шкодливо шмыгнули руки за спину, и неприятным, фальшивым голосом он затрубил:

– Марианна Сергеевна, запишите на прием? По текущим вопросам освещения в СМИ...

Потому что двери приемной взрывом открыло и ввалился огромный щекастый малый, похожий на только что закончившего со спортом, но уже прибавившего мяса штангиста, с коротковатыми руками, которые по каким-то многолетним неисцеляемым медициной причинам не могли плотно прижиматься к бокам, – он резко остановился, вопросительно, разбуженно глянув сперва на Эбергарда, потом на Марианну, словно «что здесь делает этот...», «мы же договорились, чтобы в приемной не...» – Марианна схватила папку с почтой, отложила и погрузилась в чтение телефонограммы, приблизив ее к лицу, будто потеряла очки, – малый скрылся в кабинете помощника префекта.

– Да ладно тебе. Он ничего не видел, – и Эбергард зажмурился на миг, прогоняя затопивший его страх.

– Они всё видят, – Марианна горела пристыженной краснотой и трогала пальцами лоб, щеки. – Новый помощник. Борис Юрьевич.

– Откуда?

– Оттуда, откуда... Похоже, они все – из одного какого-то места, где-то их там делают. Видел, глаз подбит?

– Да я даже не...

– Не первый раз. Мне кажется, это он ему... – и Марианна постучала ногтем по табличке «префекту на подпись» на красной папке. – Больше не заходи. Попробовать тебя записать?

Эбергард вроде бы подумал, но думать он уже не мог, словно понюхал, пощупал, посмотрел во тьму и – ничего, ничего.

– Нет, – и выбрался в коридор и уходил почему-то на цыпочках, размахивая неистово руками и корча рожи, чтобы выдавить из нутра нажитую тоску, к удивлению и неуверенным улыбкам постового милиционера, уморившегося стоять в бронежилете, и клял себя: зачем? зачем?! зачем он высунулся?! зачем он дал себя увидеть?! И побежал по лестницам вниз, налитые тяжелым временем часы оттягивали к земле руку, забился в кабинет и недоуменно смотрел за окно – вот что-то косо понеслось над землей мимо желтых и белых боков заворачивающих к метро автобусов, что-то подлетело к оконным стеклам, падая, паря, приземляясь, словно трогая мягко замерзшую траву кошачьей поступью заживающей лапы, мгновение и – мягко запушились фонари.

Заглянул друг Хериберт – глава управы Верхнее Песчаное всегда улыбался, улыбался и сейчас, но как-то совершенно заново: словно рубанком со стальным широким лезвием хитрому хохлу в косметических сезонных целях сняли старую кожу вместе с глазами – и новая кожа улыбалась незащищенно, болезненно и непривычно, и на ней не обнаруживалось глаз; казалось, Хериберт завернул в пресс-центр от безысходности, спрятаться, в ближайшее укрытие он забежал по пути прямо откуда-то «там», где состругивают наружные кожные покровы,

понимая: сейчас таким ему еще нельзя показываться людям – сразу поймут то, что и так все поймут, но попозже. Хериберт не хотел говорить или хотел говорить, но не знал, что хотел говорить; но он точно хотел, чтобы кожа хоть немного огрубела, обветрилась, потеряла прозрачность, скрыв, как больно качается насосами кровь, как пузырятся в мозгу страшные мысли-идеи; он хотел пожить еще немного в строю, протащиться еще чуть вперед, застряв меж плечами марширующих дальше уцелевших соседей, – Эбергард уже видел такие лица, и его согрела гадкая радость чужого падения: сегодня не он, и сегодня уже прошло, сегодня уже больше никого не уведут; не он; он, может быть, – никогда.

Хериберт ухватился за стул и качал его – шаткая опора, не сядешь, опасно; забылся и тряс стул этот дальше, как трясут детскую коляску, забившись под каштан в сторонку от солнца, собаководов и самокатной визжащей мелюзги вокруг пруда, заросшего тополиной шерстью:

– Радиованю уволили.

Радиованей в префектуре Востоко-Юга прозвали руководителя аппарата Ивана Сергеевича Глущенко за то, что он лично проверял все микрофоны перед началом коллегии в четыреста пятнадцатой комнате.

Как?!

– Вызвал, обложил матом – вроде бы пыльные шторы в комнате отдыха. На «ты». Потом объявил: для обеспечения безопасности работы префекта необходимо провести капремонт. Очистить крыло, где бухгалтерия, машбюро и социалка, и выстроить там ЗОД – зону особого доступа! С видеонаблюдением. И еще одним постом охраны. В эту зону префект должен подниматься на отдельном лифте. В общем лифте он не может ездить, там всё в моче и микробах. Свой лифт прямо из подземного гаража – гараж тоже нужно выстроить, никто не должен видеть, как префект выходит из машины. И – у префекта должна появиться полноценная комната отдыха, а не эта конура. Достойная мебель. Гидромассаж. Ортопедические матрасы! Также надо проработать с городом вопрос устройства вертолетной площадки – пробки, понимаешь, его утомляют. И говорит, – Хериберт решился опробовать улыбку: действует? – Справитесь в кратчайшие сроки? Надо, кстати, прокуратуре проверить целесообразность расходования средств аппаратом префектуры за последние три года. Или, говорит, лучше доверить ремонт новому работнику, ветерану специальных операций в Чечне? Радиованя: ясно; вышел и прямо в приемной написал заявление. Год до пенсии оставался.

– Что-то у него с головой, на почве безопасности. – Эбергард думал другое: минус, Радиовани больше нет; поднялся и шагнул к Хериберту, словно готовясь утешающе обнять: а ты?

И Хериберт смущенно махнул рукой – и еще есть анекдот:

– И я улетел. Слыхал?

– Нет.

– Честно? Ничего, сейчас разнесут... Я-то случайно попал.

Так будут говорить все.

– Когда монстра представили, главы управ пошли в баню – обсуждали. Никто его не знает. Говорю: как никто? я знаю!

В баню Эбергарда, выходит, не позвали – конечно! Главы с главами! Замы с замами! Первые замы с первыми замами! Князья! Без холуев и обслуги! Друзья! – даже не сказали ему! Да кто он такой!!!

– Вспоминал, вспоминал, а доехал до управы и нашел визитку – точно. Весной приходил на прием. Я бы и не вспомнил: коммерс и коммерс, хомячок. У нас там участок интересный такой, давно оформила на себя ассоциация инвалидов правоохранительных там кого-то, на углу Институтского проспекта и Руднева...

– Напротив «Восточной кухни».

– Ну да, туда левее, к французской школе, там уже песочницы... Ветераны-летчики, хрен знает, какую-то Аллею Героев из елок высадили. А эти правоохранительные бойцы весной

пишут мэру: просим в рамках реализации взаимных социальных тра-та-та передать участок под застройку ООО «Правопорядок и милосердие чего-то там...»

– Ну, понятно.

– Вот монстр толкачом от этого ООО и приходил: не можем выйти на площадку, жители встали стеной. Я говорю: что может управа? Управа ничего не может. У вас даже разрешения на строительство нет. Школьную спортплощадку хотите сносить. А там еще Аллея Героев. Он: документы мы потом, по ходу оформим, у нас ресурс есть, вы нам пока список дайте, с адресами. Кто провоцирует. Кто устраивает провокации. Провокаторов. Это у него любимое слово. Мы им сперва двери дерьмом... Не поймут – ребята физически воздействуют. С семьями провокаторов разберемся, – щеки подрагивали, словно во рту Хериберт держал бьющееся сердце, он потемнел: лицо одного цвета и строго зачесанные на бок, но подрастрепанные волосы; волосы – это маленькое личное море, личный ветер, что-то личное, что не скроешь, поэтому содержать необходимо в порядке, – отдельно светлели только брови, выгоревшие в очередном паломничестве.

– А ты?

– Позвонил Бабцу. Он говорит: не лезь ты, там какой-то криминал.

– И Бабца уволили. А монстра назначили.

– А неделю назад участок этот, – Хериберт сладко прижмурился, – продали «Добротолубию», Лиде. Понял? На хрена теперь монстру строить? Ему теперь можно вообще ничего не делать – сами принесут да еще просить будут, чтоб взял.

Далее не полагалось, полагалось предложить кофе, бутерброды, но подробности агонии манили: как? – действовали неясные расчеты: я тебя спрятал, расплатись рассказом, я тебя понимаю, жалею, лишнего не говорю, а ты Расскажи, а я всем Расскажу, избавлю тебя от расспросов, пусть я узнаю первым – кто первым знает, тот сильнее, богаче – никакое несуществующее «облегчение души» здесь не действовало.

– И как тебе... объявляли?

– Я знал. Предвидел. Когда в Иерусалиме последний раз молился, голову поднял, а под куполом над моей головой лестница висит и монах на ней...

Эбергард чуть не спросил: «Настоящий?» – Хериберту время от времени что-то являлось.

– ...А в руке у него свечи пучком, и вдруг – свечи сами собой вспыхнули как благодатный огонь, и никто монаха, кроме меня, не видел. И я понял: многовато хватил я благодати, перебор. А вчера, как к монстру позвали, я матушке в монастырь позвонил, она: «Только не бойся, а то бес тебя сразу подхватит». Я и не боялся, а всё молчал. А монстра бес крутит, в глаза не смотрит, рукой то кресло, то за телефон: «Вы плохо работаете. Ничего не умеете. В районе бардак»; я только тихо: «Чем вы недовольны? Верхнее Песчаное – лучший район города по итогам года».

– Один на один?

– Чекисты... Как без свидетелей? Кристианыч сидел. Глухонемой. Только глаза выпучивал. И Кравцов тоже. Все друзья мои! А монстр: но вы профессионал, такие люди всюду нужны. Поможем вам перейти в департамент ЖКХ или в жилинспекцию. Согласны? Я сказал, – Хериберт едко посмеялся над собой, – по-ду-маю. А в восемь утра в управу заходит УБЭП, в потребительский рынок. Нам мелкая розница добровольно жертвует, раз в месяц, на социальные нужды населения, – Хериберт внимательно взглянул на Эбергарда, словно проверяя: знает он? нет? признает, что именно так? – А один вдруг написал, что у него вымогали. Я его семь лет знаю! Пирожками торговал у метро. А теперь яхта в Хургаде. Так ты ж с нами плавал!

– Серега.

– Серега. И уже дело возбудили. Монстр звонит: мне доложили, у вас неприятности, но вопрос решаемый, мы не позволим ментам в стоптанных ботинках устраивать провокации,

еду к мэру просить, чтобы вас, моего лучшего главу управы, направили на усиление соседей, в Гуселетный район Востоко-Севера, согласны? Ну и я уж: да, да! Спасибо большое! А что... И – ничего. Я посмотрел: Гуселетный. Спальный район. Парк. Два кинотеатра. Населения – в три раза меньше, чем Верхнем Песчаном. И всего один рынок выходного дня. Ни одной станции метро! – Хериберт замолчал, всё, что он мог сказать, не главное, о чем имело смысл говорить, закончилось, пальцы шупали пустые ящички, нажимали кнопки, но нет – память пуста, в тишине звучало только страдание, как неприятный, приближающийся и приближающийся, не приближающийся, но будто бы приближающийся неслышимый звук.

– Видел нового помощника? – чтобы не молчать, чтобы понять услышанное и на себя примерить.

– Богатырь. Смотрели мы с Хассо, как к префектуре подъехал. Серебристый «лендкрузер». А у нас сейчас и возможности есть, да купить боишься. А в первые-то годы – поставишь свои «жигули» за квартал от префектуры и шлепаешь на работу в орган власти пешком. Слышал, чернобыльца Ахадова избили? Шел на пикет против точечной застройки. Во дворе. Бил какой-то спортивный парень. И трое смотрели. Сказали: жалуйся, куда хочешь. Если еще раз придешь на встречу с населением – бить будем каждый день. Понял, какие люди заходят в округ? А нам – на выход.

Это тебе – на выход.

– А что делать мне? – Эбергарду казалось: отделившегося, отсоединенного Хериберта уже относит течение, и со стороны «уже не с нами» ему лучше видно и – посвободней, перед ним не стыдно на тайный миг обнажить свою растерянность, слабость, тщедушие, да и Хериберту приятней, что выпавшим и лишним он чувствует себя не один.

– А что тебе делать?

– Кому носить?

– А ты с кем решаешь?

– У меня куратор Кравцов. С Кравцовым. А уж как он там дальше с Бабцом...

Хериберт легко покачал головой, словно стрелка весов поискала по сторонам точку равновесия, соответствующую искомой величине, и равнодушно (это кольнуло Эбергарда: зря он раскрылся...) ответил:

– Кравцову и носи. И совесть твоя будет чиста. Пусть Кравцов там как-то с монстром этоотрегулирует. Тебе на разговор с монстром напрямую выходить нельзя. Он с тобой о деньгах говорить не будет. Если у них появятся к тебе вопросы – к тебе подойдут. Че ты смеешься?

– Ты сказал «совесть чиста».

– Да, брат, – Хериберт перекрестился, – едим тех, кого не видим. А как иначе? Такие мы люди.

«Список готов для новой квартиры?» – утром, перед школой Эрна ответила: «Мне ничего не надо. Как сам хочешь».

Лифты еще не пустили, они с дизайнером Кристиной поднимались по пожарной лестнице, боясь пропустить этаж, обозначенный цифрами из мела, каждый раз – новой рукой и в новом неожиданном месте; навстречу и за ними вслед шлепали резиновыми тапочками запыленные строительные рабы: вниз – в обнимку с мешками сыпучего мусора, вверх – с мешками цемента и штукатурной смеси на горбу; в квартире – найдя и осмотревшись – они остановились между столбов и бетонных стен, казавшихся сырыми, посреди самого большого из будущих жилых пространств.

– Сто восемьдесят семь квадратов. – Эбергард заметил: – У вас новая прическа, – волосы дизайнера с момента последней встречи заметно отросли, нарядно потемнели, и теперь какая-то упругая сила удерживала их красивыми волнами, высоко поднявшимися над головой. – Можно потрогать?

Дизайнер (про ребенка и мужа никогда ни слова, что означало: муж – нет, ребенок – да), выделявшая значительную долю от гонораров, чтобы тело и телесные облачения говорили: «Современна, не занята, зарабатываю, никаких проблем со мной, у ребенка няня», – кивнула и посмотрела в сторону – он опустил ладонь: мягкие волосы, легко уступающие нажиму. Как трава.

– У меня нет никаких пожеланий. Природный камень там или дерево венге... Все пожелания у жены, вы уж с ней... Мне главное – комната дочери. Чтобы ее подружки зашли и сказали: ах! – И рассказал, как рассказывал теперь всем, хотелось: – Давно не видел ее.

– Вот почему у вас грустные глаза. Дочь будет жить с вами?

– Нет. Может, вообще ни разу не переночует. И не придет, – Эбергард говорил и не верил. – Но комната пусть будет.

– Будет ее ждать?

– Не ждать. Просто – быть. Как облако. Как намерение.

Дизайнер достала из усыпанной желтыми камнями сумочки рулетку и осторожно шагнула в темный проем одного из будущих санузлов измерять стены – она не доверяла строительным чертежам. Эбергард поборол желание отправиться на помощь, чтобы еще раз потрогать волосы и что-нибудь кроме волос, – продолжил разговор с дизайнером, с наклеенными ресницами, с какими-то блестящими мелкими штучками, прилепленными на веки, кольцами, запахом, краешком красных трусов и браслетами; непрекращающиеся слова, подземная река теперь сочилась наружу в любом месте, как только он останавливался, и любому – омывая ноги; он поворачивал глаза внутрь себя, там, внутри, дизайнер и другие встречные по очереди и размещались, и внимательно слушали: вот эти месяцы ко мне не вернутся, я это недавно понял: ничто, никакое запоздалое объятие с разбегу «а вот и я» не вернет эти месяцы; как бывают месяцы лишения свободы, так бывают месяцы лишения любви. Так после тюрьмы, наверное, человек лишается целостного, полного, комплектного мира – так и я не смогу любить полностью, как прежде, Эрну без этой сотни дней, потому что любят не кровь, стекающую по соседним венам, а... Четвертый месяц из нее уже выветриваются мои слова, и самое главное – в ней нет моего пламени, Эрну лишили моего тепла, и я не смогу согреться ответно, ведь дети – это тепло, оставляемое про запас, на вечер; хоть нас разделяет (Эбергард поднял голову: окна неплохие, но всё равно – придется менять на деревянные) – пять минут машиной, я уже не знаю, с кем она подружилась за эти месяцы, и она не знает про меня... Знает с чужих, ненавидящих слов...

Убить, пробормотал он, змеиную голову с острыми зубками, БЖ, распаленную тварь! Но – когда же он отучится... Первое, что подумал, увидев квартиру, – как бы порадовалась Сигилд; что-то просто помимо него действует; тело непонятно чего ждет, будет ждать еще какое-то время, мучает не только прошлое, но возможное настоящее, осязаемое настолько... Вот Сигилд – вот он же видит! – проходит вперед: «И здесь еще комната! И дальше? Да сколько же здесь всего комнат, Эбергард?!» – вот Эрн носится, очумелая от счастья: «Папа, пусть у меня будет джакузи!» – вот они приезжают вместе и проверяют, как делается ремонт, выбирают плитку с макаками, какие-то особые лампы в детскую, вместе – радость, радуются, а потом летят, опять вместе, отпуская... Он не сомневался и не сомневается, что дальше жить с Сигилд не мог, но возможное настоящее от этого не становилось менее кровавозабубренным, уничтожающим его нынешнюю жизнь, – он не сможет признать женой Улрике, маму ее – тещей, ее родню – родней, но вот если у них с Улрике родится сын или дочь – пусть они будут настоящими.

– Что, извините?

Слушательница что-то сказала, дотянув и ткнув рулетной ленточкой в последний угол, замкнув ломаную.

– Я говорю: наверное, вы не любите женщину, с которой сейчас живете. Поэтому вам так больно. Вы должны избавляться от этой боли, – она спрятала рулетку и осматривала себя у окна: не вымазалась? – От боли бывают плохие болезни. Пройдет время...

– А что делать с дочерью сейчас?

– Просто любить, – но было видно, что на самом деле она ответила «что ж здесь поделаешь... тут ничего не поделаешь...».

– Ну да, время, – он спускался за дизайнером на улицу, – но я же не против времени. Я против подлости и садизма.

Дизайнер отчужденно молчала, типа: а, всё бесполезно, не надо было раскрывать рот, кому это я...; но другая, она же, сочувственно слушала его, и Эбергард досказывал: все, что хочу – пусть ребенок остается ребенком в своем положенном детстве, пусть мать останется матерью, а отец отцом, пусть отец и мать говорят друг о друге ребенку только хорошее, настоящее или искренне выдуманное, пусть эта крыса не делает из маленького человека колюще-режущий предмет для мести – за что? У Сигилд появился друг, а может, и заранее запаслась – да на здоровье! – деньги Эбергард дает, хотя ей всегда мало, Сигилд осталась квартира – три комнаты, купил ей машину, Сигилд здорова и работает, продает сибирские макароны, оптом – за что мстить? – все разводятся, вот и они развелись.

– Павел Валентинович, завтра к девяти тридцати. – Завтра... Он даже остановился от счастья – завтра он увидит Эрну (хотя очень несправедливо, что писала она «люблю очень-очень» какой-то вползшей в ее квартиру многоногой мрази), но завтра – огромный день, поедут в клуб, что-то Эрнэ скажет отцу, что-то спросит, и он ответит: «Да всё не так! Ты не верь», погладит этот исцелованный поисками температуры маленький лоб, разъяснится, потеплеет, растает, придет, а потом кончится зима, и на весенних каникулах из снега они улетят куда-нибудь и будут там разговаривать перед сном; самые важные – вечерние слова, когда гаснет свет и не видно лиц, когда уже сказано «Спокойной ночи» и настанет время, после «Ты спишь?», сказать что-то очень...

– Эбергард!

Улрике, высокая и красивая девушка, спешила к нему вдоль дома упруго и длинноного и улыбалась с такой силой уверенности, что он неожиданно сказал:

– Всё будет хорошо, – потому что почувствовал так, понял, как понимают простые вещи навсегда: «настало утро», «окончена школа», «теплая вода» – почувствовал себя на вершине, а еще – летящим в каком-то радостном прыжке сознания: он прав! хорошо он всё сделал, он там, где хотел, его любит удивительная, приносящая удачу девушка, и он ее любит – зачем жить без любви; они обнялись и замерли, и думали, наверное, одно, так часто у них получалось – одновременно думать про одно, будто срослись или одинаковые мысли приходили одновременно.

– Спасибо тебе! Спасибо тебе. Запомни этот день. Сегодня по состоянию на девятнадцать двадцать мы вместе.

– Мы есть. Мы всегда будем вместе, – и Улрике рассмеялась. – Как же я счастлива...

Спешили домой и засиживались допоздна, не наговариваясь, не утоляясь; с минуты, когда Эбергард позвонил: «Можно, я сегодня переночую у тебя?» – Улрике уже не работала в управлении здравоохранения, учила испанский, придумывала, как обставить гнездо постоянное, сто восемьдесят семь метров; а теперь еще – курсы будущих матерей, где не выключали сонно-мурлыкающую музыку; до полуночи и дальше они разговаривали и разговаривали, бережливо, словно кто-то уже подсчитал оставшееся им время, ложились и после долгожданной, законной, наконец-то небоязливой ненасытно-долгой близости вставали опять – выбирали в инете дома в Испании, намечали взять няню англичанку, – Улрике уже не думала, как она будет потом, «потом» наступило, она не хотела другого «потом», ее нашли, и мир открылся, ей всё казалось необыкновенно интересным: составление букетов, зимняя пересадка пятилет-

них плодовых деревьев, съемка видео, правильное питание, психология – может, она станет детским психологом? Откроет частный детский сад?

Учредит фонд помощи сиротам и больным деткам, что много страдают? «Если будут возможности, – она не произносила “деньги”, заглядывая Эбергарду в лицо, – может быть, потом, когда-нибудь – давай возьмем из детдома малыша?» Эбергарду показалось: он повзрослел, набегался, нашел своего человека и эту любовь уже не отдаст несущественным, погрызающим всё обстоятельствам совместного проживания, удержит ласковую маленькую ладонь в ладони своей – до конца.

– Мы умрем в один день, – серьезно говорила Улрике, – мы с тобой никогда не умрем.

Ночью (всё наоборот – теперь они не виделись днем):

– Три месяца перед зачатием тебе нельзя алкоголь, париться, даже очень горячий душ нежелательно – тогда созреют здоровые сперматозоиды. И поменьше работать. Сдадим все анализы на инфекции. Пройдет январь, и начнем? – Дальше Улрике слушала его, про волшебную комнату Эрны, и подхватывала: – Обязательно должно быть зеркало и столик с ящичками, много-много ящичков. Она должна чувствовать себя принцессой. А у нашего маленького будет своя комната?

– Ты же всё знаешь! Ты видела проект. – Третий раз! Одно и то же! – Там больше нет комнат!

– Первый раз ты на меня закричал.

– Я спокойно сказал. Зачем спрашивать о том, что и так хорошо знаешь?! – Вот и Улрике хотела сказать: Эрна не приедет.

– Пусть у них будет общая детская...

– У Эрны будет отдельная комната!

– Но она же не всё время будет у нас. Когда Эрна будет приезжать, тогда наш малыш...

– Это будет комната только Эрны!

– Только Эрны. Согласна. Но мы же не можем всё время спать в одной комнате с малышом. Это может привести к неблагоприятным психологическим последствиям, из которых знаешь что развивается? Когда Эрна вырастет – ты же купишь ей отдельную квартиру, а малыш переедет в ее комнату...

– Ты можешь со мной об этом больше не говорить?! Я никогда не сделаю по-твоему!

Улрике отвернулась, словно другие темы были у нее на других полках, где-то за стеной, вот:

– Звонила твоя мама. Плачет. Очень ей обидно, что Эрна не звонит, на звонки не отвечает. У мамы в декабре юбилей?

– Да. Поедем. – Он прочел в ожившем телефоне сообщение Сигилд: «Эрна не пойдет в клуб», позвонил и орал на кухне: – Почему?! Мы же договорились!

– Я не собираюсь перед тобой отчитываться! Когда ты выпишешься из квартиры? Вывози свои вещи. Не хочу с тобой иметь ничего общего!

Подать в суд! Лишить денег! Избить! Отнять квартиру! Убить себя, чтобы Эрна задумалась.

– Не переживай. Это не сама Эрна, она ребенок... – Улрике заплакала, видя, как сжимается и мнется его лицо, и – тут позвонила Эрна, первый раз, как он ждал и хотел, – сама:

– Почему ты не спишь так поздно? Мы же договаривались пойти в клуб, я всё распланировал, – Эбергард успокаивался и заранее зажмурился: ну, бей.

– У меня другие планы. Ты должен учитывать мое мнение. Как ты смеешь называть мою маму крысой? Фильтруй базар, если хочешь говорить о моей маме! Ты ведешь себя так нагло, думаешь, тебе ничего за это не будет?! – И все, даже не ясно, кто кого вычеркнул, кто первым нажал, чтобы отключиться.

– Какая же Эрна глупая, – повторяла Улрике, – говорит с тобой, как с одноклассником. Она не понимает, что не может так говорить с отцом. Ты должен объяснять ей, воспитывать...

– Как?! Подарками и поездками? Каждый раз всё дороже? Когда воспитывать? Я ее не вижу. Наверное, я потеряю дочь.

– Увидишь, она сама к тебе придет.

– Я не смогу долго ждать, – Эбергард хотел сказать то, что не выговаривалось складно. Ну вот, что любовь – когда человек каждое утро выходит навстречу другому человеку и второй – тоже идет навстречу... И они встречаются на месте любви. Каждый должен за день проходить свою половину, вернее, каждый должен идти; кто пройдет побольше, кто поменьше, но обязательно, что идут оба; и если второй человек совсем не выходит навстречу – никто не сможет каждое утро всё равно (если разлучила не смерть) искать его и ждать... Какое-то время – да, в надежде – да, но – не бесконечно. И когда Эрна во времени «может быть» соберется пойти к нему – на месте любви его уже не будет... Он не сможет любить любую, простить всё, любое всё, принять любую, не потеряв себя, а он не хочет потерять себя, свое – терпеть уничтожение, служить рабски... Деньги давать – да. Помогать – да. Звонить и поздравлять с днем рождения. Но любить – нет, наверное.

В последние месяцы, когда уже многое про будущее хоть и не называлось, не понималось, но виделось ясно, Эбергарда очень заботило, какие дни ребенок запоминает навсегда, – он придумывал такие дни для Эрны, оплачивал их, организовывал, вбивал «запомнит это на всю жизнь» гвоздиками в обивку какого-то теплого транспортного средства, что повезет их в будущее вдвоем: удивительные улицы, куда они приезжали вместе, удивительные вещи, которые его руки отдавали ее рукам, внезапные радости, устроенные им, всегда приходящая помощь – это всё перевесит; но – стоило слегка рвануть чужими руками, стоило похолодать и – словно ничего не было, не имело значения, а было что-то совсем другое, что разъясняют, рассказывают теперь ей эти... – дословно повторяясь в телефонных жалобах подругам, шепча над дочерью перед сном, досочиняя, изворачивая, заостряя, подвыхивая – вот, вот и вот; вот это Эрна запомнит на всю жизнь, этим станет. Его сбережения пропали. Или – скоро пропадут.

– Ну наконец-то! Сколько обещал заехать! – Глава управы Смородино Хассо обнял Эбергарда в приемной. Ухоженный (даже волосы уничтожал на груди) Хассо умиротворенно уложил свою седую голову на плечо руководителю окружного пресс-центра на глазах поднявшейся безумной секретарши Зинаиды и двух вытянувшихся замов, первого и по ЖКХ, – так полагалось, прислуга должна знать, кто близок, – и прошли сквозь кабинет в комнату отдыха, карнавально увешанную на всякий случай выпелами как бы друзей – ФСО, ФСБ, группы «Альфа» и футбольного клуба «Терек». Хассо, не сядя, вдруг звякнул в шкаф посуды:

– Будешь? Вон как с Херибертом-то...

– Ты что с утра пораньше? Не поедешь сегодня в префектуру?

– В префектуре я уже был.

– Хассо...

– А? – Хассо выпил, с тоскливым недоумением осматривая кофемашину, сейф, вазочки с орешками и изюмом, словно здесь ему предстояло жить и питаться до смерти, не выходя.

– Ты что такой?

– Я из префектуры. Позвонили из аппарата мэра вчера: почему префект два месяца не принимает население. Сегодня и попробовали: я, Боря Константинов из Озерского и Загмут (вопросы подобрали по нашим районам) – все в новых костюмах, Загмут даже маникюр сделал. Вот так – мы, здесь – префект, здесь Кристианыч – сели. И вдруг форточка... И монстр таким ти-ихим, но повизгивающим... завприемной Кочетовой: «Сколько раз говорил, чтобы не скрипело! Посадили префекта под сквозняк? Чего добиваешься, шалава?» У нашей боевой Кочетовой руки дрожали и – я первый раз видел – ноги дрожали, я посмотрел – у меня в зеркале: белое лицо! Кристианыч ему листок с записавшимися – девять человек, отобрали

поприличней, простые вопросы, а он прямо с ненавистью: «Че подсовываешь? Сколько денег с них собрал?! Как мне надоели ваши вонючие старики!» – листок Кристианычу в морду и – ушел. Конец приема. Мы посидели. И тихонько разошлись.

– Так мэру доложат.

– К мэру Ходырев уже сходил.

Вице-премьер Виктор Иванович Ходырев отвечал в правительстве за выборы, отбор, прогулки и кормление депутатов и кадровую политику на местах.

– И сказал: префект Востоко-Юга производит на министров и руководителей департаментов болезненное впечатление некомпетентностью и неспособен к работе на территории. Предлагаю после нового года переместить его по горизонтали – в отрасль. А мэр ответил, – Хассо раскрыл пустую ладонь, – воспитывай! Не уберут. Если только после выборов... Если уйдет мэр...

– Слушай, нельзя думать всё время про это. Он уже столько раз уходил!

– Само думается, – Хассо потер щеки, будто накатался на снегоходе и подморозил, быстро и сильно. – Ты что приехал?

– Ты имеешь некоторое нравственное влияние на руководителя своего муниципалитета?

– Что надо? – Хассо уже давил пальцами на телефонные кнопки.

– Слушай, опека же теперь в муниципалитете. Может, вызовут мою бывшую, пуганут.

– Зря ты, – в сторону, но неприятно поморщился Хассо. – Будет казаться: выиграл. А это будет твоё поражение. Ушел и ушел. Нам всем о другом сейчас... Виктория Васильевна, к вам Эбергард сегодня зайдет – мой друг и ваш друг. – И Хассо сказал с напористой теплотой: – Помогите ему, он там расскажет. Как мне. Да я знаю, что и так помогли бы, но – прошу. Только с секретаршей там его наедине не оставляйте. А то он у нас... специалист! – Отключился. – Ждет. Зря ты.

Виктория Васильевна Бородкина, строгая женщина с яркой помадой и бородавкой, слезой стекавшей по щеке, говорила безучастным наставительным шепотком и каждый день, судя по всему, начинала в салоне красоты – Хассо возвысил ее из председателей избирательной комиссии после нищего педагогического прошлого. Бородкина царила – редкое счастье не только быть замеченной, но и властвовать человеком из префектуры, без стеснения ковырять личное, допуская снисходительные усмешки, словно с этой минуты осведомлена о некоем позорном медицинском факте в отношении Эбергарда, который лично она никогда бы не допустила в своем организме и при всем уважении к главе управы не может извинить.

– Вызовем! И поговорим! Что она там думает... У девочки должен быть отец! А вы сходите в поликлинику и возьмите справку, что интересовались здоровьем девочки. Не дадут – поможем! Сходите в школу, поговорите с учителями и возьмите справку, что интересовались успеваемостью. Чеки от подарков сохраняйте. Денег дочери не давайте – еще неизвестно, куда она их употребит. Обязательно поздравляйте дочь с государственными и семейными праздниками – подарком и открыткой. У жены вашей деньги есть? Значит, наймет адвоката. Цель адвоката – убить мужа в суде. В суде у нас заседает Коротченко, а если Коротченко раскорячится – никто не пройдет. А она раскорячится! И Чередниченко заседает. Мы и ее знаем как облупленную! С кем и когда.

Эбергард знал: на первой встрече обещают больше, чем могут и хотят.

– Отдельная комната для дочери – хорошо. Специалисты органов опеки проверят, чтоб был холодильник для хранения продуктов, игрушки и постельное белье. Дочери вас никто не лишит, вы не наркоман и не алкоголик, им никакой диспансер не даст таких справок – мы проследим! Мнение детей после десяти лет учитывается, с кем они хотят. Думайте, что сможете дочери предложить. Как только ваша жена поймет, что вы не один, сразу начнет царапаться к вам, чтоб договориться.

Через две недели монстр закончил чаепития с главбухом Сырцовой, не отвечал на ее поклоны, поехал на правительство без Кристианыча. Кристианыч уже не расписывал почту, но не покидал кабинета, чтобы при надобности оказаться под рукой, когда запищит прямая связь с префектом – но прямая связь молчала, а позвонить сам и сказать что-то сладкое монстру Кристианыч не смел. На место Хериберта в Верхнее Песчаное заступил молодой военный пенсионер Бойченко с детскими алыми губами любителя варенья – «прописываясь» в бане с главами управ, он научил всех кричать «Ура!» после тоста, пугающе расспрашивал: «Улучшилась ситуация в округе за последнее время?» – сам рассказывал одно: образцово подготовил к строевому смотру отстающую роту. Радиованю сменил некто Шведов, обладатель пышной неофициальной шевелюры, ходивший первую неделю в пиджаке с золотыми пуговицами и просторных светлых брюках – секретарше Шведов пояснил, что подолгу жил за границей, скучает очень по своей яхте, что секретарь его не должна в префектуре иметь друзей.

Не задерживаясь, монстр посоветовал «искать другой вектор развития» следующему – заму по потребительскому рынку Варенцову – и добавил, что если Варенцов желает «уйти без грязи», то за три месяца воспитает себе смену – смена в виде угрюмого обритого здоровяка с наскоро вырубленным лицом заселилась в кабинет Варенцова, наблюдая даже за тем, как Варенцов переобувает уличные туфли на кабинетные.

Следом, одним днем задумалась о своем будущем и «всё для себя решила» Сухинина, сидевшая на социалке, и уступила кресло отставному генералу МВД – тот проводил страшные совещания с директорами школ, кричал: «Я не дам воровать!», часами сидел один, глядя на совершенно пустой стол, и через месяц уволился; его сменила «поискавшая себя в коммерции» Золотова, говорили, монстру она троюродная сестра, и тоже взялась кричать – за два месяца из ее управлений уволились четырнадцать человек. Умный начальник юруправления Сева Лучков быстро поступил в аспирантуру и собрал справки о хронических заболеваниях; монстр давил: «Подставить меня хочешь? Это что за кидок? Я тебе не разрешаю уходить! Я прослежу: никто тебя не возьмет!» – но Сева вырвался и сменил телефон; в его кабинет заехал полноватый неулыбающийся господин, нигде не работавший больше года, говорили: «передвигает его контора»; уволили начальника управления экономики, Кочетову, век отслужившую «на приеме населения»; Гарбузова из общего отдела ушла сама, как только монстр второй раз запустил в нее принесенной почтой.

Новые люди – они смеялись вместе с прежними в буфетных очередях, поздравляли равных по должности с днями рождения, показывали фотографии детей и собак и выглядели обычными, единокровными, теплокровными млекопитающими, потомством живородящих матерей – как все, но никого это не обманывало: упаковывались они отдельно, между собой говорили иначе (или казалось испуганным глазам?), улыбались друг другу особо, уединялись, припоминая общее прошлое (где это прошлое происходило? когда?), отстраненно замолкали, как только речь заходила про монстра; владели будущим, жили уверенно, они – «на этом» свете, а префектурные старожилы оставались «на том»; новые знали «как»: не поднимали на префекта глаз, вступали в его кабинет на цыпочках (Марианна показывала желающим – как), крались до ближайшего стула, неслышно присаживались и глядели в стол, помалкивали (и все теперь старались так же), когда префект спрашивал, быстро переходя на мат и бросание подручных предметов. Новых объединяло происхождение, не дающее себя для определения уловить, не сводимое к буквам ФСБ, к слову «органы», что-то более глубокое, близкое к человеческой сути, наличие каких-то избранных, меченых клеток в многоклеточном организме, позволивших оказаться в восходящем потоке.

В понедельник вечером оповестили: завтра после правительства монстр вернется в префектуру и соберет «трудовой коллектив» в зале заседаний в семнадцать часов для «разговора»; монстр дозрел представиться уже без нянек, поручителей и поводырей, доказав провокаторам в правительстве, что хозяйство принял и теперь – рулит.

С утра Эбергарду не давались мелкие движения: зубная щетка не попадала, возвращаясь, в стакан, бритва покорябала кадык, пуговицы не шли в прорезь, шалили лифтовые кнопки, ласковая веточка у подъезда зацепила и сбросила шапку с головы; в такие утра сразу думаешь: чем-то кончится этот день? – и оглядывался: надо запомнить – женщина греет автомобиль, зачерпывает из сугроба снег и сеет на лобовое стекло, опять берет снег горстью и бережно несет – как птичье гнездо с яичками в крапинку. Павел Валентинович обернулся: в префектуру? – машина летела с ровным остервенением, как мчатся машины, вырвавшиеся из тоннеля или из пробки, никого не подбирая, мимо воздето голосующих рук, нагоняя и обгоняя автобусы, стоймя перевозившие людей.

Эбергард всё смотрел – как девчонки целуются на остановках, а мальчики выдувают пузыри жвачки – воздушные шарики, которые должны перенести их в Америку, на светофоре заглядывал в соседние машины, как в окна спален, – в них женщины красили губы, в утренней тьме на выходящих из земли коленом и уходящих под землю углом труб сидели вороньи бомжи под таинственными объявлениями «Демонтаж гидроклином, алмазная резка бетона».

Собрались заранее и в безмолвии ожидали – внизу, под сценой (где во время окружных мероприятий располагался секретариат, поглощавший записки с уведывающими от основной темы обсуждения мелкими, частными вопросами и личными эмоциональными выпадами и необъективной информацией и запускавший записки с действительно важными, хоть и неожиданными и даже острыми вопросами, на которые префект всегда находчиво, убедительно и не без юмора отвечал и даже извинялся за допущенные ошибки) приготовили столик для монстра и явно свежескупленное кожаное кресло – без микрофона; торчать посреди огромной сцены и говорить в микрофон, следя, чтобы губы находились на равном расстоянии от звукоусиливающего устройства, монстр не пожелал.

Вот – зашли охранники, хмуро оглядели зал, задрав подбородки, так высматривают по углам знакомых, что «обещали быть», и расселись в первом ряду, вот – появился префект, слегка задумавшись на входе: здороваться? нет? – за ним ввалился помощник Борис Юрьевич, как всегда – ручищи слегка в стороны, словно намочил их и теперь сушит, последним вплыл начальник организационного управления Пилюс, теперь не отходивший от помощника префекта, охранников и водителя монстра. «Он как-то смог», – с болью подумал Эбергард, но успокаивал себя: нет, не обязательно добежит первым, кто первым побежал. Что может Пилюс? Курить с охранниками, провожать префекта до туалета, лизать ягодички – ничего не значит; мало ли что он ходит следом, пускай, места вокруг монстра много, всех не задвинет, всё не вылижет, мало ли что ненавидит Эбергарда – первым делом будет закрывать свою задницу, а там посмотрим еще, кто кого подвинет.

Монстр с осторожностью (что же у него болит... с таким цветом лица... печень? кишечник? Поэтому всех ненавидит?) опустился за стол и вдруг с бешенством зыркнул на передернувшегося судорогой помощника, словно немо вопрошавшего: сбегать? – монстр забыл! – листок с планом «разговора»? очки? – всё, короче, с самого рождения монстра пошедшее криво по вине окружающего быдла, стало невыносимым совсем вот с этого мгновения – это почуяли все, и наступившее лютое молчание своей предгрозовой дурнотой напомнило школьное «к доске у нас пойдет...» или минуту, когда любимая подсоберется с силами и скажет наконец «да» или «нет» (знаешь, что «нет», «у меня есть другой», или «я устала прощать»; если бы «да» – стала бы так долго готовиться!), минуту, когда что-то легко и обморочно звенит в ушах, и хотя ничего еще не случилось, но так плохо, словно уже случилось, а когда случится, будет обязательно – еще хуже. Ноздри монстра раздувала злоба, каждое утро он вставал с постели, чтобы уничтожить врага, и здесь он для этого.

– Я, – выдавил монстр, настраивая голос, и все услышали, как черные люди загребают лопатами снег на выезде от префектуры на Тимирязевский и швыряют под проезжающие колеса, как лепестки роз под счастливые шаги новобрачных в рай, – я – исполняющий обя-

занности префекта Восточно-Южного округа. Буду работать в округе, пока работает мэр, – аккуратно подлизал, пусть передадут. – Заступил я к вам, – в голосе префекта засквозили придурковато-деревенские нотки, заиграл, – сел так в кресло префекта и взялся читать устав города, с этого, разные там чудачки говорят, надо начинать, – пнул вице-премьера Ходырева. – А кресло мя-аконькое, и так мне сладко сиделось, я и подумал: вот работка так работка! А потом, – монстр выпрямился и прищурился от какой-то рези в глазах, – проехал по улицам, вошел в аварийные дома, увидел, как живут многодетные матери, ютятся в тесных и холодных квартирах, увидел проданные коммерсантам детские сады, помесил грязь во дворах и по брошенным стройкам, прочел письма обиженных нашим чиновничьим бездушием, ограбленных приватизаторами, запуганных наркоманами и хулиганьем... – он постучал кулаком по столу, потому что поднявшиеся чувства затопили гортань и надо переждать, чтобы восстановился рабочий уровень для производства словоговорения, – и понял – вот здесь! – моя работа! Вот – на земле! – мое место!

Эбергард слушал с третьего ряда, сразу за главами, дальше не мог сесть, ему полагалось в третьем, на первом – замы префекта; главы управ и руководители муниципалитетов на втором; если бы Эбергард сел дальше, все бы поняли: боится; он сидел за каменно глядящими не непосредственно на префекта (читался бы вызов), а в общем, туда, в область его местонахождения, Фрицем и Хассо, прячась за подмороженного сединой Хассо; ужасно захотелось оглянуться: улыбается кто? – улыбается? – хоть жестом, поправляющим очки? переменной ручной опоры? поерзыванием в смене отсиженного места на отдохнувшее? – чтобы кто-то поймал взгляд его своим и мигнул не мигая: да, отжигает наш, поднатаскал кто-то монстра за это время – и всё-таки обернулся (хотя – не надо, ровно сиди!). Но никто не взглянул в ответ, все стыли, как кладбищенский разнобой крестов и плит, неодобрение похоронной процессии сквозило в глазах: как можешь ты отвлекаться сейчас, время ли!.. – все до одного – мимо; заметил его, скривив губы, только Пилус и, угрожающе поиграв пальцами, покрепче прижал к себе папку с бумагами – толстую папку; так и не сел, оставаясь на входе, псом.

– Вы думаете, я ничего не знаю?! – заорал монстр и убивающе клюнул пальцем в зал, как на зло, в примерном направлении Эбергардовой вороватой оглядки. – Да я каждую субботу сажусь за руль подержанных «жигулей» и объезжаю округ, захожу в подъезды! – И намеренно замолчал, словно ожидая обморочных падений, стонов, партсъездовских рукоплесканий, извержений пены на эпилептических губах. – Я знаю, какая у вас грязь, – на «грязи» всё чужое, присоветованное и пару раз пересказанное зеркалу исчерпалось, и монстр забормотал нутряное, свободное, стесняясь и ярясь на всех за свое стеснение, куда-то под начищенную обувь первого ряда: – Антисанитария на дверных ручках. Что за стулья? Рвань! Купим. Мебели приличной нет. Купить! Ремонт. За дверные ручки не возьмешься – мало ли кто их хватал, у вас здесь ходят чахоточные, в соплях... Как я могу братья за такие ручки? Ручки вычистить!

– Есть! – это с первого ряда вскочил Евгений Кристианыч Сидоров и вытянулся, дрогнули щеки, карие глазки ласкали префекта, подкатывали к суровым камням теплые обнаженные волны: я, это я, больше некому, я, навсегда; и Пилус, шатнувшись от обиды, что не первым сообразил, пытаясь обогнать хоть громкостью, басанул что-то от дверей, похожее на «Сделаем!» – Эбергард опять не сдержался и покачал головой: вот стыд, Кристианыч, на глазах у всех, шестьдесят четыре года! Проститутка!

– Работайте спокойно, – монстр вспомнил упущенное из заготовленного, – честных тружеников не трону. Но дальше я пойду только с теми, кто обеспечит выборы. Глав управ прошу подняться ко мне в кабинет для продолжения разговора. Остальным засучить рукава – за работу!

Истуканы шевельнулись, ожили, поднимались с мест и, придя в рабочее настроение, торопливо вытекали проходами в старые коридоры, в новую жизнь; над не шелохнувшимся Эбергардом быстро прошептала Сырцова:

– Вставай! Не сиди! Твои друзья же ему доложат.

Он поднялся, главбух продолжала почти не разжимая губ:

– Говорят, уволят еще шесть глав управ. А после выборов – уволят всех. Сам сказал: не задержусь. Жду назначения в правительство России.

Он думал «что делать?». Позвонила дизайнер – эскизы готовы, в четверг вечером заезжают строительные хохлы. Предупредить консержку. Новый год. Первый Новый год без Эрны.

– Можно, я протру подоконники? – Но Жанна зашла без чистящих приспособлений, что-то сообщить, на всякий случай, вдруг важно. – Все моют двери и окна. Марианна из приемной микрофоны в телефонах прочищает проспиртованной ваткой. У землепользователей столы протирают водкой. И все молчат. У нас эпидемия? Вы помните, у меня ребенок...

Глав в кабинете монстра держали недолго, Эбергард застал на стоянке Хассо; глава управы Смородино (любому издали показалось бы) молча стоял рядом с Фрицем, начальником управления муниципального жилья, но приближение Эбергарда оборвало едва слышную фразу:

– ...И прослушку, говорят, везде поставили...

Друзья, стараясь не таиться и не спешить, прогулочн отошли за угол кинотеатра «Комсомолец», словно выпить или отлить.

– Ты чего без головного убора?

Эбергард даже не взглянул на Фрица, что-то новое знал только Хассо, должен делиться, если друзья.

– Про деньги?

– Как обычно, – без охоты признался Хассо. – Сперва процент объявил: за «Единую Россию» шестьдесят восемь, восемьдесят девять – за Медведева, явка – сорок пять. Заплатить агитаторам и бригадирам, ну и вобщак – с какого района по сколько. Вот с меня – миллион семьсот.

– Ни хрена себе «как обычно»... Ходырев, когда собирал префектов по выборам, Востоко-Югу выставил одиннадцать миллионов, а монстр: округ должен двадцать восемь! Семнадцать уже на карман! – верящий в существование государственных и житейских законов, Фриц говорил только Хассо, Эбергард должен быть благодарен, что ему позволяли послушать.

Хассо пожал плечами:

– А что мне? Я свои отдам. Я из бизнеса выну и отдам, в районе за год мы уже всех выдоили. Ты еще не понял, что они за люди? Фриц, жди – скоро они к тебе придут, и поймешь.

Фриц и Хассо обернулись на Эбергарда. И тот улыбнулся. Ясно. Думаете – а вот он вообще ничего не понимает, а ему первому помирать... И верные признаки. Да? И без жалости: лишь бы вас не забрызгало, чтобы валясь – не зацепил. Не заразиться.

Словно боясь, а вернее – боясь, Эбергард постоял за углом своего бывшего дома, отвернувшись от ветра, но недолго – здесь, в поле, в лесу, во дворе, в море – ничего нет. Всё происходит там – в сцеплении людей; всё, что он есть, – там. Всё, что с ним на самом деле происходит, – там. В подъезде он заглянул за пазуху почтовому ящику, в душу, выудил рекламный листок – «И снова о чудесном воздействии водки с маслом», «Семь глотков урины»; у лифта приклеили картонный коробок в цветах российского флага – на макушке щель: «Что вам мешает жить? Напишите нам в “Единую Россию”» – скоро выборы.

Эбергард ступил в прокуренную квартиру (Сигилд наконец-то нашла причину для воссоединения с сигаретами – она страдает! и урод, видно, покуривает), вещи – узлы и коробки – ждали прямо у порога, ни шагу дальше; из глубин квартиры выплыло вот это... в голубенькой маечке и замерло за спиной безмолвно-гневной Сигилд (без звонка?!), как повешенное

на крючок пальтишко, – Эбергард слабым шевелением в руке почуял желание ударить, хотя не мог поднять глаз, почему-то стеснялся.

Не нашлось сил на «а где?..» – выпрашивать и звать, но, когда он нагнулся к упакованному прошлому, примериваясь: унесу за раз? – дверь детской распахнулась и Эрна выбежала: «Папа!» – и обняла, прижавшись, как к дереву (Сигилд и урода словно ослепило какое-то болезненное для органов зрения мигание света, они отвернулись, каждый в свою сторону). «Посидишь со мной?» – все исчезли, черное, неразстворимое в нем исчезло от одного прикосновения руки, он прошел в детскую, на свое место, слева от стола школьницы: покажешь дневник? Его – не та, из телефонного молчания, из телефонных злых слов, предсонных и послесонных страданий и додумываний, – родная, опустилась рядом и положила голову ему на колени, он гладил волосы; они говорили, но молчали, потом он сказал: «Пойдем погуляем с собакой!» – чтобы никто не мялся за дверью: когда же он, скорей!..

Так он представлял «в лучшем случае», готовясь к разнообразным «худшим», но получается всегда «никак», продлевая удушающую неокончателность.

Дверь открыла Ирина Васильевна, няня; ее брали няней, а когда выросла Эрна, оставили помогать по хозяйству; влажный пол – уборка:

– Они в гостях.

Эбергард забыл про собаку – собака плакала и билась ему в ноги: где ты был?! – не давала ступить, уносились за мячиком: давай играть! – валилась на бок: чеши, гладь – вот кто его ждал, как надо.

– Растолстела как...

– Теперь же не гуляют. На пять минут вышли и – хорош. Всё по гостям ездят, – няня выкрутила тряпку, не взглядывая на Эбергарда.

Вот вещи – да, именно так, как он представлял: мешки и коробки в бывшей бабушкиной комнате; на бабушкином диване появился новый плед.

Он выносил сумки, Павел Валентинович грузил в багажник и салон – всё? – разулся и прошел по комнатам: всё? – чужие ботинки, чужая бритва, пена для бритья, тюбики, флаконы, какие-то от морщин баночки – что это? на хрена ему столько? На полках Эбергарда – чужое. Так всё быстро... Но, возможно, уроду просто негде жить, снимать дорого, а по месту прописки тесновато.

– Давайте поменьше денег, – няня ходила следом. – Раз появился человек, живет с ней... Он работает, она работает. Живет припеваючи, каждый день выбрасываю чеки... Знаете, трусы за сколько покупает? Каждый выходной Эрне праздник делают! Сигилд никогда не будет вам благодарна, всё равно будете виноваты. А с Эрной разговаривайте, должна она понимать, сколько вы для нее...

В комнате Эрны на заметных местах – новые куклы, он вздохнул и взял с парты дневник – «четыре», «пять», «принести краски», «небрежное оформление» и – чужая роспись внизу в «Подпись родителей»; он полистал страницы: учителя, предметы, личные... Вот – его имени в «личных данных» не было, парой к Сигилд Эрна вписала урода, фамилия, имя, отчество, мобильник, – и обернулся, словно кто-то позвал, – на двери детской Эрна приклеила плакат «До свадьбы осталось 11 дней», летучими зернами одуванчиков набросала восклицательные знаки и сверху нарисовала двух голубков и кольца.

– Кажется, всё. Я поехал.

– Не расстраивайтесь, – няня заперла собаку на кухне и держала подрагивающую от собачьего натиска дверь. – Девочка спокойна. Веселенькая. Учится, старается. Вам нечего за нее переживать.

У подъезда Эбергард, как всегда, оглянулся на окна, но махать из окна уже некому. Павел Валентинович догрузил коробки, присмотрелся, нагнулся и что-то поднял из снега и протянул:

– Вывалилось.

Эбергард принял на ладонь – какой-то прозрачный пакетик.

В пакетике лежало обручальное кольцо – он кольцо никогда не носил, где-то оно лежало дома. Эбергард быстро сжал пальцы, торопясь успеть, прежде чем кольцо начнет говорить.

Не удержался и вечером подержал в руках (Улрике с тревогой следила, пытаясь подсказать: в этом можно еще ходить; а вот в этом ты мне очень нравился) каждую вещь – вещи, как фото, видеофайлы, воспроизводили в мозгу годы, месяцы, самого Эбергарда, вытаскивали на свет составные крепкие части жизни; утраченное тепло и прожитое время показывались и – навсегда отлетали.

– Всё придется выбросить. Или отнести в церковь, – сказал Эбергард, словно мог что-то оставить. – Это всё другого человека.

Улрике потянулась обнять:

– Ты что?

Он уклонился:

– Ничего. Я счастлив. Теперь не надо гулять с собакой. Не живу с посторонним человеком в одной квартире. Меня никто не раздражает! Всё, как хотел.

Выйдет замуж, думал Эбергард, ну и нормально. Посияет – пусть. Пусть талдычит: «Только с Федором я поняла, что такое настоящая любовь!», «Какое это счастье, когда рядом надежный, порядочный мужчина!», «Как жаль потерянного времени!». Эрна покричит со всеми «горько!», послушает поощряющие тосты, «дочь, которая не оставила маму в трудную...» Что изменится? Ничего. Он усмехался подползшим всё-таки посреди ночи мечтам подростка, любящего кино: ворваться, отменить, вернуть Сигилд, опять просыпаться по утрам в своем доме, видеть Эрну каждый день... И снова: нет, наверное, Эрна не любила его еще и раньше – до ухода. Как же сделать девочке больно? Как дать ей понять... Она мне нужна, я ей – нет. И комната в новой квартире останется пустой. Посреди ночи он жаждал любви, уверенности в своей нужности, незаменимости. Пусть человек, которого я люблю, боится меня обидеть. Меня бережет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.